

73.3(2-Балк) 776333

Б-18



Н.БАЙРАМУКОВА
КАИСЫН
КУЛИЕВ





(К. Кулиев выступает в Сорбонне перед студентами)

ВВЕДЕНИЕ

Творчество балкарского поэта, лауреата Государственной премии СССР, народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева — одно из самых интересных явлений в современной литературе. Творческий путь его — путь представителя совсем юной литературы, достигшего высот мировой поэтической культуры, примечателен и показателен; Кулиев интересен и прост как большой поэт. Кроме того, его творчество помогает понять глубинные, характернейшие черты развития многонациональной советской литературы.

Наблюдения над состоянием современной карачаево-балкарской литературы (карачаевцы и балкарцы фактически один народ, разделены они лишь территориально; в их языке сколько-нибудь существенных различий нет), а также аналогичных по путям развития северокавказских литератур показывают, что исследование творческого пути К. Кулиева как представителя малого народа, сумевшего выйти к мировой литературе, имеет жизненно важное значение для этих литератур. Дело в том, что до сих пор часть северокавказских поэтов старшего и среднего поколений не только не вышли из плена абстрактно-риторического стиля 20—30-х годов, но видят, в нем «школу» художественного мастерства. Вслед за ними целый ряд вступающих в литературу

Кабардино-Балкарская Государственная научная

Библиотека имени Н. К. Крупской

гор. Нальчик, ул. Ногмова. 42

молодых поэтов начинают писать в этом же стиле. Это наносит серьезный ущерб молодым литературам, тормозит их развитие.

Творчество К. Кулиева представляет в этом отношении исключительную ценность. Оно является наглядным примером преодоления специфического барьера национально-областной ограниченности, неоспоримым доказательством возможности создания немногочисленными, не имеющими богатых литературных традиций народами большой литературы, что, разумеется, имеет огромное значение не только для северокавказских, а и для всех молодых национальных литератур. Кроме того, поэзия К. Кулиева привлекает наше внимание и тем, что в ней нашла свое очень серьезное решение другая проблема многонациональной советской литературы: ее национальное своеобразие и интернациональность, конкретно-национальная форма изображения в реалистическом искусстве и его общечеловеческая сущность. Любопытно, что во всем написанном о поэте, во всех высказываниях непременно и в первую очередь отмечается его национальная самобытность и сила художественного воздействия.

«Прекрасный балкарский поэт К. Кулиев. Подлинный горец и подлинная поэзия...» Эту афористически меткую характеристику А. Фадеев оставил в своей записной книжке. Запись сделана в мае 1943 года, когда Кулиев делал первые шаги в большой литературе. «Нет, кажется, другого советского поэта, у которого национальная сущность образной системы была бы выражена более резко, чем у Кайсына Кулиева», — отмечает критик В. Гоффеншефер спустя десять лет. Еще более показательны и другие высказывания, которые мы приведем чуть ниже.

Национальная форма — в настоящее время предмет острых дискуссий в литературоведении и критике. Это вопрос специальный. Творчество К. Кулиева дает бога-

тый материал для специального научного исследования по этому вопросу. Однако, говоря о поэзии Кулиева, обойти ее национальное своеобразие невозможно, а тем более — учитывая дискуссионность проблемы национального. Чтобы отметить хотя бы главные черты в творчестве поэта, в которых нашел идеальное решение вопрос национальной специфики, необходимо коротко наметить основные тенденции дискуссии.

Выступая в 1958 году на декаде казахской литературы в Москве, критик А. Макаров сказал: «Говорят, что национальная специфика проявляется прежде всего в национальном характере героев, создаваемых писателем. Мне хочется добавить к этому: национальная специфика или колорит начинается с характера самого автора...» В ответ на это Мухтар Ауэзов заметил: «Вот то новое слово, какого нам не хватало в наших спорах и раздумьях о национальной специфике литературы». Это было как бы восстановлением положения, высказанного еще Белинским: «Истинный художник чувствует национальность прежде всего в самом себе и потому невольно накладывает ее печать на свои произведения». В условиях социалистического содружества наций, развития многонациональной литературы в стране «вечный» вопрос о национальном характере искусства стал переосмысливаться, как бы возникать «заново». А некоторые обстоятельства, начиная от теорий пролеткульта — РАППа и кончая последствиями искажений в национальном вопросе, связанных с культом личности, приведшие в свое время к забвению известных и бесспорных истин, осложнили и запутали его.

Со временем накапливаются наблюдения, делаются выводы. Появляется интерес к истории вопроса.

«Вслед за языком к национальной форме мы должны отнести,— пишет К. Зелинский,— и то, что в более широком смысле слова является «языком», выражает национально-историческую жизнь народа, его песни,

обычаи, нравы, традиции, характер восприятия человеком родной природы, произведений труда и искусства и другие приметы специфики национального бытия. Наконец, наиболее высокой задачей для художника является воссоздание национального характера народа, той психологической общности, которая возникла в результате долгой совместной исторической жизни, военной борьбы и хозяйствования».

Очень важно уточнение формулировки К. Зелинским. Он подчеркивает: «Могут сказать, что все это не относится к национальной форме, а уже является содержанием национальной жизни. Совершенно верно. Но форма и содержание всегда в единстве. Поэтому, говоря о роли и значении национальной формы в литературе социалистического реализма, мы не вправе отвлекаться от всего, что составляет национально-характерную сторону жизни того или иного народа». Национальное своеобразие не сводится к двум-трем чертам, оно вбирает в себя «все национальные моменты с точки зрения их пригодности для выражения главной задачи советской литературы — изображения дел и людей Советского Союза в его движении к коммунизму».

К сходному выводу приходит и Г. Ломидзе. Он пишет: «Что важнее в национальной самобытности художественного произведения? Оригинальные изобразительные средства и краски народа, национальный характер героя и автора или национальный бытовой и географический колорит, богатство национального литературного языка? Такая постановка вопроса не плодотворна». «Единство», «сложная диалектическая взаимосвязь» всех этих элементов составляет национальное своеобразие литературного произведения.

Однако в вопросе о значении национально-специфических моментов в развитии советской литературы продолжают существовать противоположные взгляды.

«В этом вопросе существуют две точки зрения,— пи-

шет К. Зелинский.— Существуют и произведения, выражающие обе эти тенденции. Одна тенденция может быть выражена такими словами: «Зачем нам насыщать свои произведения какими-то национальными моментами? К чему это? У нас единая советская литература, мы изображаем советских людей с одинаковой идеологией и психологией. Мы сыны одной родины. К изображению этого и должен прежде всего устремляться художник. Всякие национальные моменты — это в сторону. Поэтому не нужно изображения национальных обычаев и т. п. Изображай советское, а оно понятно и близко всем».

Есть и другая тенденция, представители которой, наоборот, стремятся перенасыщать свои произведения всевозможными признаками того, что эти произведения родились именно на казахской, грузинской или якутской почве. В своем крайнем проявлении эта тенденция приводит к поэтизации этнографии, национальных моментов как таковых в их отъединяющей от других наций функции».

Выводы К. Зелинского сделаны в 1957 году. В продолжение последующих лет полемика на эту тему то утихает, то разгорается. Одна из таких «вспышек» ее была в 1962 году. Дело, конечно, не в самой полемике, а в том, что односторонние взгляды на вопрос существуют и оказывают известное влияние как на писательскую практику, так и на оценку произведений литературы критикой. Как говорится, по свежим следам событий Г. Ломидзе обобщает: «Есть приверженцы сверхинтернациональных взглядов. Защищая, по их мнению, интернациональные основы нашей культуры, они убеждают, будто пора уже отойти от живописания национально колоритных пейзажей, примет быта, характера народа, пора изгнать из обихода папахи, украинские шаровары, черкески, тубетейки и т. д. Дескать, времена национальной отличимости безвозвратно канули в прошлое, только отсталые, ограниченные люди могут толковать о

национальном своеобразии в эпоху развернутого коммунистического строительства.

Другие же критики сокрушаются по поводу того, что из номенклатуры изобразительных средств исчезают бурки и кипжалы, некоторые приметы национальной отличимости». «Высказаны две крайние точки зрения. Какая из них правильна?» — ставит вопрос автор. И справедливо отвечает, что «правда лежит где-то в стороне от них».

В самом деле, ни национальный язык, ни приметы быта и пейзажа, ни национальная психология сами по себе не составят национально-специфической формы литературного произведения. Художественное произведение — это картины действительной жизни, нарисованные художником. Poleмика о дозировке национальных изобразительных средств в литературе беспредметна. Что касается интернациональных основ советского искусства, то подлинно национальное, то есть лучшее, передовое в нации, — это и есть интернациональное, общечеловеческое. Идеи вне нации, вне конкретного национального преломления — беспочвенная абстракция.

У К. Кулиева есть стихотворения, говорящие о дружбе народов (не только нашей страны, но и мира), стихотворения на сугубо балкарские, кавказские темы, на «вечные» темы.

В одних — обилие примет национального быта, пейзажа, фольклорные мотивы. В других признаки национальной отличимости выступают совсем в ином свете — сложнее, тоньше. Но во всех его лучших произведениях виден подлинный горец, в них отсутствует местная ограниченность, в них всегда подлинная поэзия.

Творчество К. Кулиева позволяет видеть, что проблемы национально-специфической формы не решаются абстрактно, изолированно от других проблем, компонентов художественного произведения. «Националь-

ный колорит» в произведениях художника обуславливается личностью самого художника, в его произведениях выражена жизнь народа — жизнь в ее классовых, социальных, политических, эстетических проявлениях.

Национальное в стихах Кулиева — такая же тонкая система, не расщепляемая на форму и содержание, как сама лирическая стихия. Недаром А. Тарковский обнаружил в поэзии Кайсына Кулиева опровержение «привычных» представлений о национальной форме. «...я стал искать в ней больше то, что называется местным колоритом. Я искал то, с чем мы сталкиваемся сплошь и рядом, когда мы имеем дело с поэзией малых народов, то, что является местным, ограниченным, что мы... принимаем за местный колорит. Этого я не нашел. Потому что стихи Кайсына Кулиева — это настоящая поэзия.

Кайсын Кулиев — поэт маленького народа, вышедший на общечеловеческое поприще поэзии. Кайсын Кулиев в стихах своих говорит от лица своего народа. Он — поэт всего мира. ...Интересы всего человечества, очень широкие слои всего человечества нашли свои уста в этом поэте».

Мнение это единодушно.

Е. Книпович говорит о Кайсыне Кулиеве как об одном из поэтов нашей страны, которые «вырастают в поэтов мирового значения.

По силе проникновения в действительность... становятся поэтами очень крупного масштаба».

Как видим, разговор о национальном характере поэзии Кулиева возникает не сам по себе, не как самоцель, а в связи с ее художественной и идейной высотой, в связи с мастерством поэта.

Часто, цитируя разные стихотворения поэта, говорят: «Здесь Кулиев весь». И действительно, каждое из этих стихотворений настолько глубоко, что дает представление о личности автора, о его непосредственности,

горячем темпераменте и мягкой задумчивости, о мощном многоголосии чувств; перед нами поэт всегда глубоко национальный — и общечеловеческий одновременно.

Приходит грусть почти всегда нечаянно,
Себя к ней не готовит человек.
Наверно, так перед началом таянья
Грустит на перевалах горный снег.

Никто не ищет грусти преднамеренно,
Но отчего-то, то ли без причин
Грустят не то что люди, даже дерево,
Грустит трава долин и снег вершин.

Сегодняшняя грусть моя — посланница
Под вешним ливнем мокнущих высот,
Но скоро дождь пройдет, а грусть останется,
Иль будет литься дождь, а грусть пройдет.

Покуда непогода так упорствует,
Давай не будем тратить время зря,
А будем слушать дождь, как старцы горские,
Друг другу лишних слов не говоря.

(Перевод Н. Гребнева)

Понятно то волнение, с каким поэт К. Ваншенкин говорит об этих строках: «Это просто потрясающее, находящееся на самых вершинах поэзии стихотворение. Здесь — весь Кулиев, абсолютно горский, кавказский, балкарский и в то же время общечеловеческий. Этим и замечателен Кулиев».

Дагестанский поэт Аткай находит, что «весь он и вся его доброта» в таком стихотворении поэта:

Ценю я с нежностью и строгостью
Ту доброту, как человек,
Ту доброту, что пред жестокостью
Вдруг не растает, словно снег.

Ценю я доброту суровую,
Всегда за правду на костер
Взойти пред временем готовую,
Жестокости наперекор!

(Перевод Я. Козловского)

И Аткай по-своему прав, хотя все-таки мироощущение Кулиева, основа его поэтического видения, думается, в следующих строках:

Я горевал над камнем, который
Почернел от огня и беды,
Потому что хотел, чтобы на нем
Цвели цветы, не побежденные ничем.

Я над срубленным деревом скорбел,
Потому что хотел, чтобы оно бросало
Тень на речку, чтобы дети играли
В его тени и зеленела его листва.

Над погибшими, над погубленными
Я скорбел, рыдал над ними не раз,
Потому что их живыми я всегда
Очень любил.

(Подстрочный перевод)

Поэзия Кулиева в основе своей драматична — она вобрала и трагедию жесточайшей из войн на земле, и суровую историю его народа в прошлом совместно с недавней тяжелой судьбой. Как это и бывает в трагических ситуациях действительности, поэт суров, но он пишет не жалобу, а величественный реквием ушедшим и гимн жизни.

Такое подлинно оптимистическое и гуманистическое миропонимание выработало в Кулиеве редкостную свободу и непосредственность поэтической мысли. Все это вместе составляет основу тех особенностей поэзии Кулиева, которые завоевали ей всеобщую любовь и приз-

нательность. Особенности же ее, как у всего талантливового, лежат не на поверхности. «Писать о поэзии Кулиева и трудно и увлекательно, — справедливо отмечает критик И. Гринберг. — Я бы сказал — легко и трудно. Легко говорить и писать о Кулиеве потому, что не встретишь оппонента: я не видел ни одного человека, которого бы стихи Кулиева не трогали. Вместе с тем очень трудно говорить и писать о Кулиеве, потому что после этих восторженных, добрых оценок хочется определить, что же рождает те богатые, добрые, разнообразные чувства, которые испытываешь, когда читаешь стихи Кулиева».

Это «что же» состоит из множества признаков, примет больших и малых. Чтобы определить причину обаяния кулиевской поэзии, пришлось бы проанализировать самым детальным образом всю ее.

Эта многомерность чувств в стихотворениях Кулиева, сложность читательских ощущений и вызвала поэтический в своей «неопределенности» и выразительный образ свободного ветра, с которым сравнивает свободу кулиевской поэтической стихии В. Звягинцева. «Кулиев — свободный поэт, — говорит она. — Он совершенно свободен от литературщины, украшательства, загроможденности, не говоря уже о фальши. Я бы сказала, что он свободен, как ветер, если бы ветер мог мыслить».

Поэзия К. Кулиева имеет еще одно существенное значение для всесоюзной литературы: ее широта, оригинальность и самобытность позволяют говорить об основных проблемах художественного творчества; эстетическая эволюция художника, формирование его как личности, как гражданина, становление и развитие его идей — явление интересное и поучительное.

Кайсын Кулиев начал литературную деятельность в середине 30-х годов и за короткий срок прошел путь развития реалистической большой поэзии, достиг тех высот, о которых очень емко сказал Н. Тихонов: «Как

снежные горы всегда будут любить люди, идущие на вершины, так мы всегда будем любить ту высоту стиха, которая называется Кайсын Кулиев». Творчество К. Кулиева глубоко новаторское в балкарской литературе, оно определяет пути ее развития — пути беспрецедентного в истории мировой литературы, но закономерного для нынешних условий становления молодых литератур в нашей стране, ускоренного их развития, — открывает перспективы для них, для всех молодых литератур народов СССР; вносит большой вклад в общесоюзную художественную культуру.

У балкарцев принципы реалистической поэзии получили свое разрешение в творчестве Кязима Мечиева — во второй половине прошлого века. Однако, ввиду слабого развития просвещения, творчество К. Мечиева в дореволюционной Балкарии не смогло сыграть той роли, какую обычно играют в искусстве подобные достижения отдельных выдающихся художников. Решить эту задачу выпало на долю Кайсына Кулиева.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первый сборник Кайсына Кулиева («Здравствуй, утро!») открывает стихотворение «О, если бы мой язык...» (1939) Поэт говорит о своем страстном желании отдать все свои силы на благо человека. По-разному в разных стихах Кулиева выражено это чувство. Но оно пронизывает всю книгу, делает стихи поэта привлекательными и тогда, когда они далеки от художественного совершенства, рождает и сильные, неожиданные для молодого поэта тех лет совершенно зрелые во всех отношениях строки.

Вот целиком его коротко и энергично выраженное кредо:

О, если бы мой язык
Каждая страна, каждая нация знала!..
Если бы моя песня на всей
Земле слышна была!..
Все сердце свое, в песню обратив,
Метнул бы, бросил бы миру.
Помог бы я оковы разорвать рабам.
О, если бы мой язык
Каждый человек знал!..
Если бы голос мой всей
Земле был бы слышен!..

Всю силу свою
По песенным строчкам рассыпал бы,
Все сердце свое, в песню обратив,
Миру бросил бы!

(Подстрочный перевод)

Желание быть услышанным всем миром пришло к молодому балкарскому поэту с Октябрем, когда был раскрепощен его народ, когда раздвинулись горизонты национального взаимообщения; когда малые народы, жившие в узком замкнутом кругу, исподволь были привлечены к решению общечеловеческих проблем. Национальное самосознание у малых народов проявилось быстро и решительно. Активизировалась жизнь языков, зарождались литературы.

Кулиев чувствует себя равным среди равных, ему нужны масштабы всего мира. В самом деле, ни в прославленных фольклорных героических песнях, ни у старших предшественников поэта — Кязима Мечиева, Саида Шахмурзаева — не встретишь стремления к выходу на мировую арену. Там иные мотивы — оборонческие: отстоять жизнь, у Кулиева — наступательные: помочь всем униженным стать людьми.

Первые опыты многих начинающих поэтов, как правило, носят книжный характер, в них много подражаний литературным образцам. При этом читательские вкусы начинающих чаще всего определяют литературные моды, течения.

Первые печатные произведения Кулиева говорят о том, что он принадлежит к числу тех, кого взяться за перо заставила сама жизнь, время, происходившие на его глазах перемены, хотя, конечно, в его стихотворениях встречается и «книжная» тематика, в стиле их в определенной мере заметно влияние поэтики того времени.

Кайсын Шуваевич Кулиев родился 1 ноября 1917 го-

да в горном ауле Верхний Чегем нынешней Кабардино-Балкарской автономной республики, в семье скотовода и охотника. Отец его, Шува Кулиев, умер, когда Кулиеву было два года. Мать его, Узеирхан, была «удивительно трудолюбивой горянкой, работала нечеловечески много... Несмотря ни на какие трудности, она нашла в себе силы послать меня на учебу», — с благодарностью вспоминает поэт.

Кулиев совсем маленьким начал работать: возил из леса дрова на ослике, пас в горах овец и телят, с десяти лет начал косить. Но обо всем этом поэт рассказывает теперь не с горечью, а с удовлетворением. «Работать приходилось много, — пишет он, — тогда я об этом не задумывался, но много позже понял, что все это пригодилось мне не только в жизни, но и в творческой работе. Трудное научило не брезговать и не бояться никакой работы, слило меня с простыми людьми, привило уважение к ним. Я очень рад, что с малых лет не знал праздности, этого отвратительного уродства, коверкающего людей».

Подобная оценка даже тяжелого детства стала возможна потому, что он жил в новых исторических условиях — трудное запечатлелось как труд, облагораживающий человека, а не как примета унижения и нищеты.

«Когда мне исполнилось восемь лет, — вспоминает поэт, — один из горских коммунистов взял меня за руку и повел в аульскую школу, которую открыли незадолго до этого. Мне вручили букварь. Откуда я тогда мог знать, что эта книга, научив меня читать, откроет мне целый мир и принесет столько радости и счастья!»

Кайсын Кулиев не видел старого мира, но все же застал его наследие. Балкария еще не успела целиком преобразиться.

В автобиографических заметках поэт рассказывает кажущийся теперь забавным случай: «Вспоминаю, как в аул к нам привезли немой кинофильм. Нас, аульских

мальчиков, больше всего удивило появление стада овец на экране. Приняв их за настоящих, мы пришли в восторг, и наши помятые папахи полетели к экрану. Тогда же я очень завидовал студенту, который стоял позади зрителей и переводил русские подписи фильма. «Вот бы мне так знать русский язык!» — думал я тогда».

Это были первые немые кинофильмы, первые школы, с которых начиналось культурное строительство в стране.

Социально-экономическая и культурная революция, развернувшаяся в восстановительный период и в первые пятилетки, вносила коренные изменения в жизнь национальных районов, в том числе и Северного Кавказа.

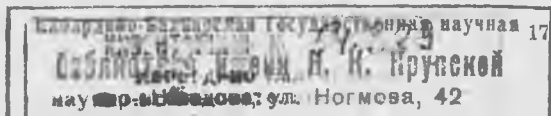
Взятый партией и правительством курс на ликвидацию фактического неравенства народов СССР в короткий срок неузнаваемо изменил Северо-Кавказский край. Россия из аграрной страны превращалась в индустриальную, и национальные районы, получив социалистическую государственность, поднимались на общесоюзный уровень.

В сельском хозяйстве успешно шла коллективизация.

Такой же резкий скачок наблюдался и в культурном строительстве. Борьба с неграмотностью, названная В. И. Лениным в числе первоочередных задач социалистического строительства, носила на Северном Кавказе поистине штурмующий характер.

В 1914 году в Северной Осетии только 15,4% населения были грамотными. Процент грамотности в Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, Карачаево-Черкесии был еще ниже, он составлял от 2 до 4%. На первое июля 1930 года ликбезом было охвачено в крае 92,8% всего количества неграмотных.

В Кабардино-Балкарии в 1931 году имелось 204 шко-



лы первой ступени, 2 вуза, 2 рабфака, 5 техникумов. В результате деятельности Всесоюзного общества «Долой неграмотность», созданного в 1924 году под председательством М. И. Калинина, процент грамотности в Кабардино-Балкарии поднялся в 1931 году до 70%.

Повсеместно осуществлялось указание В. И. Ленина о воспитании кадров из числа коренных национальностей. В области и крае одно за другим открывались политико-просветительные учреждения, клубы, красные уголки, совпартшколы, курсы по подготовке специалистов сельского хозяйства и промышленных предприятий. Из числа представителей местных национальностей тысячи партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных работников были подготовлены Ленинскими учебными городками. В Кабардино-Балкарии учебный городок был создан в начале 1924 года. А в 1934 году немецкий литератор Бальдер Ольден, посетивший Кабардино-Балкарию, писал: «...этот городок уже дал стране на нынешний год 7 тысяч образованных людей как мужчин, так и женщин». Недаром в этой цифре он увидел доказательство подлинной человечности идей социалистической революции. «Спутники показывали нам могилы убитых в боях за то, чтобы страна могла выйти на дорогу, по которой она идет сегодня,— продолжает писатель.— И я, сегодняшней демократ, пацифист, ненавистник всякого насилия, именно в эту поездку понял, что ваш путь, большевиков,— единственно правильный путь, и на этом пути я — верный ваш партизан, который с вами пойдет в огонь и в воду».

В Ленинском учебном городке получили образование балкарские писатели Берт Гуртуев, Керим Отаров, Салих Хочиев.

Школьник Кулиев вряд ли вникал в статистику экономического и культурного роста. Но он видел громадное переустройство жизни и поражался ему.

Человек свободен — вот что прежде всего изумляло начинающего поэта. Острое чувство свободы направляет его помыслы. Советский человек — «смелый хозяин земли и неба». Поэт видит его твердую поступь, его молодую стремительность, активность. Он, «не знающий лени, твердой рукой степи и горы себе подчиняет». «Если человечество от гнета освободится, все так будут жить — знаю я», — заявляет Кулиев («На человека советской страны смотрю...», 1939). Современную ему действительность Кулиев воспринимает как революционное переустройство мира. Стремительность изменений диктует ему горячие гимны, порой излишне бравурные, сбивчивые, но искренне провозглашающие славу радостной нови, человеческому разуму:

Будь хоть тысяча сердец у меня,
Не пожалел бы их для нашего времени.
Не вложив в песенную строчку,
Ни одного сосуда из тысячи сердец не
оставил бы!

(«Стихи мои! В небо наше ясное...», 1938.

Подстрочный перевод)

Время это для Кулиева не только 30-е годы. Образ времени вбирает революцию, благодаря которой стали возможны видимая поэтом действительность и прозреваемое будущее.

Как далекие, но необходимые предпосылки его времени представляются Кулиеву исторические бои угнетенных за свое человеческое достоинство, к которым поэт обращается в стихотворениях «1905 год» (1936), «Раскрыв историю мира...» (1939), «1871 год» (1939) и другие.

В стихотворении «Коммунарам Парижа» (1939) он так оценивает Парижскую коммуну:

Пули сытых вас, как сено, косили,
Но это не смерть для вас, смелые рабочие.
Нет смерти делу, которому вы жизнь отдали.
Нет смерти руке, схватившей за горло насильника.

(Подстрочный перевод)

Возможно, незаметно для самого поэта в стихи его в продолжение всего первого пятилетия творчества то и дело врываются слова: «время», «эти дни». Сквозь призму своего в р е м е н и воспринимает поэт все, о чем бы ни думал.

Многие стихотворения Кулиева тех лет — это наивные, но глубоко искренние раздумья о прошлом родного народа и страны, о судьбах революции и трудящихся планеты. Он как гражданин свободной страны, сильный именно своей свободой, чувствует себя ответственным за все, что делается на земле, и находится в состоянии мобилизованности на борьбу за идеи революции и коммунизма.

Чтобы помочь этому,
Учиться ли надо — буду учиться.
Взяв в руки оружие, на войну ли надо идти —
Пойду.

(«Я, чтобы на всей планете...», 1939.

Подстрочный перевод)

Читая эти строки, невозможно не вспомнить, как шолоховский Нагульнов «изучал» английский язык, готовясь к мировой революции. Кулиев был типичным представителем боевого поколения 30-х годов с его преданностью, азартом и наивностью.

Однако восторженность, как определяющее качество, не присуща Кулиеву. Он тяготеет к мысли. Так намечается философская, медитативная струя в его

поэзии — раздумья о смысле жизни, о назначении человека.

Я знаю, человек на свет
Не в оковах жить рождается,
Не в тюрьмах гнить рождается.

(Подстрочный перевод)

Поэт делает вполне зрелый, хотя еще далеко не совершенным стихом выраженный, вывод: человек рождается для того, чтобы «Все свои способности свободно, в полную меру развить. Все, что в его силах, Миру, человечеству отдав, счастливо жить» («Я знаю, человек на свет...», 1938).

Идеалом человека становится для него тот, кто когда-либо выступал народным заступником:

Того, кто за народ жизнь отдал,
Ты славь, поэт!
Сколько силы есть, все приложив,
Песню слагай!

*(«Героизм», 1939.
Подстрочный перевод)*

Понятно поэтому, что в числе первых народных героев в стихах Кулиева находятся Маркс и Ленин.

Гражданская лирика Кулиева этих лет риторична. Оказавшись в плену шаблонной национальной символики, он впадает в невыразительную метафоричность, не замечает громоздкости фраз, высокопарности интонаций, стертости словаря.

Воспитанная в поэте интернациональной сущностью эпохи социализма тяга к мировым масштабам натолкнулась на объективную ограниченность знания исторического материала. События Октябрьской революции, гражданской войны были для него историей. Впечатления складывались из прочитанных книг и рассказов

старших. Поэт не изучал исторические документы, не стремился к созданию исторических произведений; отсюда появляются юбилейные декламации. Возвышенное часто оборачивается напыщенностью, велеречивостью.

Однако сказанное относится не ко всей ранней поэзии Кулиева. Первый сборник его стихов вызвал бурный протест некоторых балкарских поэтов. Когда Кулиев принес в областной союз писателей стихотворение о скачущем по горной дороге всаднике, его встретили следующим образом: «А куда скачет этот всадник? Не бандит ли он, не спрятана ли у него берданка? Зачем он скачет по дорогам, когда все колхозники на полях — трудятся, строят новую жизнь?»

Кулиев вспоминает: «Тогда у нас не было принято писать о таких вещах, как обыденные человеческие радости, ощущение красоты бытия, интимные переживания человека. Одно упоминание о зреющих в саду яблоках, о любви приводило иных деятелей в яростное негодование, считалось чуть ли не преступлением».

В 1937 году обсуждался первый сборник стихотворений Кулиева. Разгорелась острая полемика, продолжавшаяся три дня, но так и не решившая судьбу книги. Вышла она лишь спустя три года — после вмешательства Правления Союза писателей СССР.

Летом 1939 года в Нальчик приехали Ю. Либединский и В. Казин проводить пленум Союза писателей Кабардино-Балкарии. Тогда и было решено издать книгу К. Кулиева, снабдив ее предисловием. Но писать предисловие никто не взялся.

Эти факты проливают свет на некоторые явления литературно-общественной жизни тех лет.

Зародившись во второй половине 20-х годов, балкарская советская литература сразу же оказалась под сильнейшим влиянием рапповского направления. Нигилистические теории РАППа лишали молодые литерату-

ры возможности опереться на традиции родного фольклора.

К 1930—1932 годам во всех национальных областях Северного Кавказа были созданы АПП. Здесь ее деятельность была не очень плодотворна, хотя и в чем-то полезна. Об этом можно судить по следующим сообщениям СКАПП (Северо-Кавказской ассоциации пролетарских писателей):

«Ингушское литературное общество, выполняя постановления общего собрания писателей, реорганизуется в ассоциацию пролетарских писателей. Создано организационное бюро ингушской АПП. Для выявления творческого лица национальных писателей организованные 6 бригад проводят смотр продукции писателей и переводят лучшие произведения на русский язык. В марте предположен учредительный съезд писателей и поэтов Ингушетии.

Дагестанская АПП в 1932 г. начинает издавать альманах на аварском, лезгинском, лакском, кумыкском и других основных языках Дагестана. В год на каждом языке выйдут по 2 номера.

Северо-Осетинская АПП развертывает призыв ударников в литературу на предприятиях. Сев.-Осетинская АПП на днях выпускает ряд альманахов, сборников».

А об АПП в Кабардино-Балкарии П. Максимов пишет: «Примерно в 1930 гг. по инициативе нескольких товарищей, русских и националов, в Нальчике организовалась АПП; но ничего реального из этого не вышло: поддержки со стороны СКАПП оказано не было, работы на месте не велось, и областная писательская организация существовала только на бумаге».

Влияние ошибочных тенденций, вульгарных представлений РАППа на молодые литературы усугублялось тем, что эти национальные писатели, ничего не знавшие о групповщине, о внутрилитературной борьбе, с бездумной легкостью уверовали в непогрешимость

указаний ассоциации, принимали их как единственно верное, безусловное. Вульгаризация доходила здесь до крайности; отступление от рапповского канона оценивалось не иначе как проявление безыдейности, антисоветских настроений. Игнорировалась народная культура, ведущая начало с древности.

«В царское время,— пишут авторы предисловия первого поэтического сборника на балкарском языке «По пути новой жизни»,— вся культура существовала для пользы буржуазии. В то время власть принадлежала тем, кто совершал беззаконие над бедными. И песни слагались для грабителей, обманщиков, восхваляли узденей, биев, баев». В обоснование глубоко ошибочного положения о том, что культура существовала исключительно для буржуазии и фольклор исключительно восхвалял богатые сословия, авторы не приводят научных доказательств (их и не могло быть), а опираются на одну поговорку. «Например,— пишут они,— бытовала поговорка: «Без хана не бывает сказки, без бия песни не бывает».

«Помимо этого проклятия (песен.— Н. Б.),— пишут далее авторы предисловия,— в народе пелись ийнары». Эти ийнары тоже принесли своего рода вред. И эфенди пели зикиры, восхваляя тогдашнюю власть, религию, тем самым держали темную бедноту в оковах невежества».

Чтобы яснее представить картину, стоит сопоставить всего два вида произведений, отнесенных здесь к фольклору.

Ийнары — вид песенного творчества у карачаевцев и балкарцев. Относятся чаще к области любовной лирики. Ими же в основном представлена сатирическая и юмористическая струя устной поэзии. Так же как и другие жанры фольклора, ийнары имеют социальную окраску. Например, едко высмеивается богатый жених, который наделяется каким-то физическим недостатком:

он выступает или хромым, или косым, толстобрюхим, скудоумным и т. д. Зикиры — исключительно принадлежность исламской литературы. Зикиров, составленных народом, нет. В них говорится о жизни мусульманских святых, и внедрялись они в народ первоначально мусульманским духовенством. Потом бытовали в народном обиходе довольно активно.

Наивно истолковывая сущность постановки в литературе социально-экономических проблем и задач коммунистического воспитания, авторы предисловия далее пишут: «О методах развития хозяйства и непримиримой борьбе в песне не пелось. Мы в этом сборнике вместо старых обычаев и контрреволюционных песен увидим такие песни, которые поворачивают народ от того дурного сознания к коммунистическому сознанию».

Все изустное творчество клеймится одним словом: «старое» — от истинно народных произведений до контрреволюционных песен, возникших в годы интервенции. Воздействие новой литературы объясняется упрощенно: дескать, с выходом книги решается и проблема воспитания коммунистического сознания.

При таком определении задач абстрактно-риторическая поэзия с ее схематизмом, поверхностностью предстает в еще более обедненном виде. Тематика ограниченная: призыв в колхозы («До колхоза», «В колхозе», «Ринемся в колхоз», «Колхозу и комсомольцу», «О скотоводстве», «Пятилетний план»); отклики на красные даты календаря и хозполиткампании («Празднику 8 Марта», «Первомайскому празднику», «Красный Октябрь», «Восьмому областному съезду Советов» и т. д.); призыв в школу («Учебное дело наше», «В ликпункты идите, науку, знания получите»). В стихотворениях варьируются несколько формул: в колхозе человек не будет голоден, раздет, не будет изнывать от непосильного труда.

3. Паперный, характеризуя систему взглядов Мая-

ковского, пишет: «Маяковский сам, именно он лично, вовсе не как пассивное отражение посторонних футуристических взглядов, вполне убежденно и активно доказывал, что вместе с революцией начинается абсолютно новая жизнь, новый быт, новое искусство — все будет твориться «с самого начала». Видимо, это не означает, что исследователь отвергает влияние футуристических идей на Маяковского. С другой стороны, потому, очевидно, Маяковский оказался с футуристами, что их программа (с известными оговорками) была близка его собственным мыслям, чувствам. Многие тогда думали, что все будет «твориться «с самого начала» — велико было желание отгородиться как можно «надежнее» от царства несправедливости и создать идеальный мир по своему разумению.

Балкарские поэты, готовые обрушить всю свою силу гнева на «старое», охотно вошли в русло всеобщего и полного отрицания всякого наследия. Но если для русской литературной среды был характерен действенный поиск (с известными формалистическими излишествами и определенными художественными достижениями) путей к созданию новой большой литературы, то балкарские литераторы только учились складывать стихотворные строки.

«В марте 1932 года в Кабардино-Балкарию приехала бригада «Правды» в составе писателей: Мих. Кольцова, Еф. Зозули и др. товарищей. Ознакомившись с положением областной писательской организации, Мих. Кольцов заявил: «...в то время, как во всех областях хозяйственного и политического строительства Кабардино-Балкария имеет великие достижения, выдвинувшие ее в число самых передовых районов Союза,— на литературном фронте у вас зияющий прорыв...»

Вышедшее через месяц постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций» и последовавшее за ним соз-

дание Союза советских писателей было для балкарской, как и для всех северокавказских литератур, началом второго рождения.

В 1933 году был создан оргкомитет Союза советских писателей Кабардино-Балкарии, позже — областное правление ССП. В августе 1934 года состоялась первая областная конференция писателей КБАО, на которой была избрана делегация на Первый Всесоюзный съезд ССП.

Эти мероприятия создали предпосылки для дальнейшего роста литературы. Однако для коренного изменения всего характера литературного процесса требовалось время.

Прежде всего была изменена организационная структура писательских объединений. Улучшилось издательское дело. В центральных издательствах стали выходить первые сборники произведений северокавказских писателей («Поэзия горцев Кавказа». М., 1934; «Дагестанская антология». М., 1934; «Писатели Кабардино-Балкарии». М., 1935).

Вопрос об отношении к фольклору как к одному из постоянных источников обогащения литературы оставался неясным и в 1932—1933 годы. Отсутствие квалифицированной критики вносило изрядную путаницу и в без того сложную обстановку.

Показательна в этом отношении статья Дж. Налоева «От мертвого к живому». Пафос статьи в том, что, создавая новую литературу — «живое», нужно отказаться от дореволюционного национального творчества — «мертвого».

«Кабардино-Балкарское дореволюционное творчество (да еще устное) не оставило такого наследства, которое можно было бы обработать, развить, культивировать в том направлении, которое должна иметь по форме и содержанию художественная литература», — пишет Дж. Налоев. И дальше: «Дореволюционное творчество

бесформенно. Оно может иметь значение для историка и лингвиста, но не для пролетарского национального писателя, и лишь постольку, поскольку им характеризуется национально-политический строй определенной эпохи».

Дж. Налоев прав, когда утверждает, что «содержание нашей художественной литературы дается каждый день, каждый час самой практикой социалистической стройки». Но, перечисляя «основные достижения кабардинской и балкарской литератур на данной ступени», он пишет: «Поэты перестали, говоря образно, ходить в дырявой поэтической рубаше Сосруко в праздничные дни, среди празднично ликующей публики; выковывают свою форму, свой стиль, свой мотив, свою тему и приемы среди рева машин и звонкого дыша коллективного и созидательного труда».

Затем он еще более четко формулирует свою мысль: «...свою форму мы создаем сызнова своими собственными силами, вовсе не опираясь на прошлое...»

Бесспорно, что, как пишет Дж. Налоев, «молодому писателю необходима серьезная творческая учеба» и перед ним «...стоит вопрос, у кого учиться?». Автор рекомендует учиться «у русских и мировых классиков и особенно современников». Но тут же он заявляет, что «нельзя писателю, притом молодому, рекомендовать учиться у Толстого или Лермонтова, хотя бы по одному тому, что они для нас не могут быть целиком приемлемы».

В высказываниях Дж. Налоева нетрудно увидеть отголоски пролеткультовско-рапповских веяний. А его запутанная попытка определить отношение к классикам и творческой учебе советских писателей — результат незнания или непонимания известных положений Ленина о критическом освоении культурного наследия прошлого.

Выступление Дж. Налоева — это не полемическая статья, не мнение одного ошибающегося критика: оно занимает солидное место в первом выпуске альманаха оргкомитета Союза писателей КБАО и, конечно, рассматривалось в то время как «руководящие указания».

К 1935 году в Кабардино-Балкарии признали за фольклором право на жизнь, признали «исключительную силу творческих возможностей народов нынешней КБАО — до Октября колонии России — «тюрьмы народов», признали, что «более поздние тексты ярко показывают своеобразие кабардинского и балкарского феодализма, рисуют тягчайшую эксплуатацию трудящихся, порою поднимаясь до мятежных революционных призывов».

Однако борьба противоречивых теорий продолжалась. «Наиболее древний массив фольклора — нартский (богатырский) эпос (он бытовал в Кабарде и Балкарии) хранит в себе весьма архаические отражения космического мировоззрения матриархального и патриархального укладов», — пишется в той же статье.

С. Блюм, выступив в журнале «Литературная учеба», справедливо называет эту статью образцом сумбура в критике. Смысловые несурезицы ее говорят о слабой разработке методологии, воинствующем верхоглядстве.

О том, как живучи были вульгаризаторские толкования фольклора и как далеко не сразу вошла в литературу истинно марксистско-ленинская методология, свидетельствует статья ингушского писателя Д. Мальсагова «К постановке изучения чечено-ингушского фольклора», напечатанная в журнале «Революция и горец».

«В связи с опубликованием работ З. Измайлова, Л. Лихарева, А. В. Аушева и др., записавших некоторые произведения устного народного творчества ингушей, — пишет Д. Мальсагов, — возникли довольно большие раз-

ногласия в оценке значения фольклора на данном этапе социалистического строительства.

Д. Мальсагов обобщает: «О значении фольклора высказываются самые разнообразные мысли, которые в основном могли бы быть сформулированы следующим образом:

1. Фольклор не отвечает запросам сегодняшнего дня, проникнут непролетарской идеологией, поэтому он не нужен, собирание и печатание его политически вредное дело.

2. Изучение фольклора необходимо, а для этого нужно собирать его, но издавать только в крайне ограниченном количестве для узких специалистов-фольклористов.

3. Произведения ингушского устного народного творчества за некоторым исключением имеют определенную ценность по своей форме и содержанию. Поэтому собирать его и изучать его необходимо. Также необходимо издавать из него наиболее ценное по форме и содержанию не только для специалистов-фольклористов, но и для широкого круга читателей».

Появление статьи Д. Мальсагова с ее четкой постановкой проблемы, с квалифицированными выводами о том, что «фольклор нельзя игнорировать... уже потому, что им пользуется масса», со ссылками на авторитетные источники — «Известия Академии наук», на Услара, Л. Толстого симптоматично: она показывает, что наступило время вдумчивого отношения к культурным ценностям. В то время появилось и известное постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».

Аналогичный процесс переоценки фольклора наблюдался и в других национальных литературах Северного Кавказа.

Спустя год после выхода статьи Мальсагова Э. Капиев писал: «Героический эпос, частушки и любовная

лирика народов Дагестана представляют огромную, до сих пор не изученную ценность». Здесь уже произведения фольклора разграничиваются. Капиев пишет: «Наряду с этой доминирующей струей старого фольклора имеется и другая, резко противоположная, отражающая идеологию привилегированных слоев. Сохранилось множество песен, восхваляющих доблести ханов, возводящих в закон их жестокость... Такие песни преимущественно слагались придворными поэтами, певцами феодалов и обычно внедрялись в песенный обиход народа.

До нас дошли и такие песни, содержащие в себе мятежную классовую ненависть угнетенного крестьянина и нередко звучащие как призывы к всеобщему протесту. Такова, например, исключительная по своей героической эмоциональности и силе социальной ненависти аварская песня о Хочбаре...»

Современный исследователь поэзии Дагестана А. Назаревич также утверждает: «В свое время дагестанские рапповцы, отрицавшие прошлую национальную культуру горцев, всячески опорочивали этот яркий образ, созданный народной поэзией в аварской песне о Хочбаре».

1934 год — год издания «Дагестанской антологии» — это и год I съезда советских писателей. Есть основания полагать, что научный подход Э. Капиева к изучению прошлой национальной культуры, особенно фольклора, обусловлен также и предсъездовской атмосферой в советской литературе, вызван, в частности, призывом А. М. Горького собирать родной фольклор, учиться на нем, обрабатывать его. Указанная выше антология дагестанской поэзии не первая. Первая антология вышла в 1932 году. Составил ее также Э. Капиев. Однако в ней нет ни одного произведения устного творчества, о фольклоре даже не упоминается.

Эти же процессы переоценки фольклора можно проследить в карачаевской литературе.

«В своем начале творчество видных карачаевских поэтов,— пишет П. Балтин в своей книге «Из истории карачаевской поэзии» — не столько опиралось на традиции устной поэзии... сколько отталкивалось от них, противопоставляя свои «новые песни» «старым песням». Только со временем профессиональная литература карачаевцев пришла к осознанию необходимости усвоения прогрессивного наследия народа в области поэтической культуры.

Развенчание нигилистических «теорий» РАПШа несомненно сыграло роль в том, что литераторы Карачая научились видеть в родном фольклоре сокровища образов, художественных средств, народных идей — всего того богатства, без освоения которого невозможно создание подлинно художественной литературы».

Приход А. Уртенова и Д. Байкулова «в школу устной поэзии» исследователь ставит также в связь с Первым съездом советских писателей и выступлением М. Горького на съезде. Е. Дрягин в рецензии на эту книгу П. Балтина пишет: «Едва ли прав критик, утверждая, что карачаевские поэты в начале своего пути «не столько опирались на традиции устной поэзии, сколько отталкивались от них...» (Е. Дрягин. «Поэзия карачаевского народа». «Вопросы литературы», 1962, № 12, стр. 79).

Возможно, что у карачаевских поэтов не было прямых высказываний, отразивших их отношение к фольклору, и в этом случае исследователь мог подкрепить свои положения примерами непосредственно из их поэтической практики. П. Балтин пишет несколько бегло и не вполне убедительно. Однако и его оппонент ничем не мотивирует свои слова.

В пользу утверждения исследователя мы можем сказать, что карачаевские поэты все же в вопросе о до-революционном культурном наследии стояли на тех по-

зияциях, что и балкарские. В этом отношении конец цитируемой и неудачно оборванной Е. Дрягиным фразы П. Балтина — «...противопоставляя свои «новые песни» «старым песням» — имеет существенное значение, хотя автор не конкретизировал свою мысль.

Балкарские поэты в те годы лишились возможности учиться не только у родного фольклора, но и у основоположника и классика балкарской поэзии Кязима Мечиева (1859—1945).

Причин забвения К. Мечиева много. Этот вопрос требует специального изучения. Очевидно лишь то, что богатое наследие замечательного поэта-реалиста, у которого каждый мог бы почерпнуть многое из мудрой науки жизни, познать культуру художественного слова, долгое время оставалось вне поля зрения балкарских поэтов.

В члены Союза советских писателей К. Мечиев был принят лишь в 1938 году. Изданы же были его произведения впервые только в 1939 году.

Но и после этого отношение к его поэзии оставалось неопределенным.

«Надо отметить глубокие, сильные стихи народного певца Кабардино-Балкарии», — писала о нем критика. Но пропагандировались далеко не лучшие произведения поэта; его дореволюционное творчество не собиралось и не издавалось.

В предисловии к первой книге поэта «Мое слово» говорится, что в первой своей песне («Жалоба». — Н. Б.) он рассказывает о тяжелой доле горянки. И что «о старом насильственном времени Кязим сложил несколько песен. Но они до наших дней не дошли». Таким образом, все дореволюционное творчество известного по всей Балкарии народного заступника искусственно сводилось к нескольким песням, которые к тому же «не дошли» до поэтов 30-х годов. И такое писалось о живом поэте, ко-

торый в любое время мог восстановить все им созданное: он был поэтом-писменником, к тому же многие его произведения знали наизусть в народе.

* * *

Ни одна литература в мире не возникает на пустом месте. Ни одна литература не развивается изолированно. Самая богатая, обладающая устоявшимися традициями литература, отгороженная от межнационального общения, может изжить себя.

Литературный процесс тех лет на Северном Кавказе характеризуется разобщенностью. Вызывалось это прежде всего разноязычием.

Балкарцы и кабардинцы, объединенные в одну писательскую организацию, не могли читать друг друга. То же самое происходило с карачаевцами, черкесами и абазинцами в Карачаево-Черкесии, многочисленными народами Дагестана. Единичные издания произведений северокавказских поэтов в переводе на русский язык («Поэзия горцев Кавказа», 1934; «Дагестанская антология», 1934; «Писатели Кабардино-Балкарии», 1935; «Писатели советской Юго-Осетии», 1939) ни по количеству, ни по качеству не могли иметь значения для эстетического взаимообмена, художественного взаимообогащения.

Любопытно и другое явление. Балкарцы и карачаевцы, разговаривая на одном языке, имея общий фольклор, один букварь для школ, общую хрестоматию, в литературном «деле» мало общались между собой, не приглядываясь к творчеству друг друга.

В карачаевской литературе к 1934—1935 годам И. Каракотов, А. Уртенев, Д. Байкулов пытались найти новые средства усиления эмоциональности агитки и лозунга.

Первый поэтический сборник балкарских поэтов

вышел в 1931 году (указанная выше книга «По пути новой жизни»). Сборник этот коллективный — в него вошло все, что было создано в балкарской поэзии к этому году. В 1933 и 1934 годах изданы две книги альманаха. У карачаевцев же вышли сборники стихов Иссы Каракотова — в 1925 году, Азрета Уртенова — 1927 и 1929 годах, Даута Байкулова — в 1931 году.

В 1928 году И. Каракотовым было написано стихотворение «Кавказ», подлинно поэтическое произведение большой изобразительной силы.

В 1926 году Асхат Биджиев выпустил хрестоматию для карачаевских школ. Многие тексты ее, за недостатком литературного материала, были составлены самим поэтом. Они свидетельствуют о художественном вкусе автора. Среди стихотворных миниатюр Биджиева, помещенных в этой книге, есть истинно поэтические.

Перевод на карачаевский язык «Демона» Лермонтова, сделанный А. Биджиевым, удивляет тонкостью проникновения в поэтический мир оригинала.

Также превосходны в переводе Биджиева горьковские «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике».

К 1934—1935 годам И. Каракотов и А. Уртенов выпустили еще по одному поэтическому сборнику («Революционные песни», «Песни и поэмы»); Д. Байкулов — сборник «Песни», поэмы «Мариам и эфенди» и «Залихат», повесть «Шамай прежде и теперь».

В 20-е годы — первые опыты в драматургии. Среди них встречаются произведения, представляющие интерес и для сегодняшнего дня. Например, пьеса «Огъурлу» Шахарбия Эбзеева, не так давно с успехом поставленная областным драматическим театром.

А в 1935—1937 годах вышел уже карачаевский роман «Черный сундук» А. Аппаева.

Большинство этих произведений схематичны. Тем не менее в ряде из них налицо некоторый качественный

сдвиг. В балкарской же литературе в это время господствует лозунговый примитив.

Балкарская советская поэзия зародилась позже карачаевской, и балкарские поэты еще не задавались вопросом, как «лучше» писать, что и для чего искать?

В эволюции молодых литератур отсутствовала какая-либо реакция на то, что было создано до них, что создавалось рядом с ними. Каждый начинал все сначала, шел не от того, где стоял его предшественник, а повторял его путь.

Каждый чувствовал потребность сказать от себя то же, что сказал другой. Возьмем, к примеру, первое стихотворение А. Будаева «От тьмы к свету», напечатанное в 1933 году. А сколько было написано до него об этом же, по той же схеме, так же общо, почти теми же словами (имеются в виду и карачаевские поэты).

Сама советская действительность стимулировала рост молодой литературы. Поэты брались за перо, исполненные пафоса революционной ломки и созидания. Ими руководило горячее желание активно участвовать в строительстве социалистического общества, пропагандировать коммунистические идеалы. Однако им не хватало духовной культуры и профессиональной подготовки.

Для того чтобы балкарской литературе жить и расти, необходимо было выйти из рамок областной ограниченности, поэтам необходим был источник духовного роста. Таким источником, близким по идеалам, доступным по языку, оказалась русская литература. Она открывала и возможности ознакомления с зарубежной классикой и классикой народов СССР.

Обращение балкарских поэтов к мировой литературе вначале носит стихийный характер. Первые скольконибудь значительные переводы классиков мировой литературы на балкарский язык относятся к 1936 году и ограничены нуждами школы: переводятся сказки, рас-

сказы для детей («Муму» И. С. Тургенева, «Гаврош» В. Гюго, «Сказки братьев Grimm», «Акула» Л. Толстого, «Старуха Изергиль» М. Горького и т. д.).

Второй поток переводов — песни. Это в основном популярные революционные песни, предназначавшиеся для репертуара получившей тогда большой размах художественной самодеятельности. В 1937 году был выпущен сборник «Песни Страны Советов», имевший политико-воспитательные цели.

Третье направление, более продуктивное с точки зрения литературного общения, — это переводы к юбилеям писателей. Так, к 125-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко переводятся «Катерина», «Кавказ», «Сон», «Завещание», «Маленькой Марьяне», «Батрачка» и др. К юбилею Пушкина также переводятся некоторые его произведения и книга В. В. Вересаева «Пушкин в жизни».

Все это поначалу давало больше читателю, нежели самим поэтам-переводчикам, еще не умевшим осваивать чужезычный художественный опыт. Искренняя любовь балкарских поэтов к поэзии и личности замечательных русских поэтов выражалась в создании стихов-посвящений (Б. Гуртуев — «А. С. Пушкину», Хабиб — «Александрю Пушкину», А. Будаев — «Не уйдешь из сердца», А. Ульбашев — «Безвременно зашедшему солнцу», К. Кулиев — «Пушкин», Х. Теммоев — «Звезда литературы» и др.; О. Этезов — «Тарас Шевченко», Ж. Залиханов — «Поэт-демократ», Сафар — «Кобзарь», К. Кулиев — «Народный поэт»). В них есть высокая хвала, они исполнены восторженного преклонения перед талантом, умом, человечностью переводимых гениев, но в них нет и следа восприятия эстетического опыта любимых художников слова.

В таком неокрепшем состоянии находилась балкарская поэзия, делавшая по существу первые шаги.

И именно в это время ее захлестывает волна риторики, выпренности, одописи.

Поэты не вникают в глубинные проявления социалистического строительства, ограничиваются поверхностными восхвалениями, в их произведениях господствует парадность, фанфарный тон.

В русской литературе, в частности, и в те годы наряду с определенными потерями крепла и поднималась поэзия, уходившая корнями в традиции Горького, Маяковского. Неразвитые же литературы, не имея таких традиций, были легко уязвимы.

Всем этим и объясняется отрицательное отношение областной писательской организации к первому сборнику К. Кулиева в отличие от положительной реакции Правления ССП СССР.

Вот несколько иллюстраций, характеризующих аналогичную с балкарской литературой обстановку. «Литературная газета» в статье «Письмо из Татарии» писала: «В письме из Татарии сообщается, что «Писатель Ерикеев перевел на татарский язык книгу тов. Маршака «Человек рассеянный». Редактор возмутился и разразился следующей резолюцией: «Использовать не можем, потому что в СССР такого человека, который показан здесь, быть не может. Произведение же говорит, что такой человек есть, и смеется над ним, коротко говоря, издевается». Далее: «В произведении Файзи имеется фраза «Воспламенившееся сердце». Редактор в панике. Он настаивает на удалении этой фразы, мотивируя тем, «что способно воспламеняться, то способно гаснуть. Советские сердца не таковы».

Немногим позже газета поместила другую статью под более красноречивым названием: «Помочь росту литератур народов СССР», где писалось, в частности: «Можно приводить целыми страницами примеры всевозможных нелепых и анекдотических происшествий, случавшихся с писателями вследствие недостатка

культуры у редакторов и политредакторов. В Удмуртии одного поэта обвинили в том, что он написал стихотворение... об осени. Нельзя-де воспевать такое «упадочное» время, как осень!»

А был уже конец 30-х годов — 1939 год.

То, что балкарские поэты в 20-е годы были поглощены агитационной лирикой, не их вина. Но когда приемлемые для 20-х — начала 30-х годов темы, приемы поэтики стали без изменения переходить во вторую половину 30-х годов, это уже означало отставание от жизни. Те юноши и девушки и даже старики, которых балкарские поэты несколько лет назад агитками звали в школы, давно перешагнули эти агитки. Например, если грамотность в Балкарии в 1926 году поднялась до 14%, в 1930 году — до 25,5%, то в 1934 году составляла уже 94%.

Балкарская молодежь училась теперь не только в областных, но и во многих вузах страны — в Ростове, Москве; «решением партии и правительства во Владикавказе было создано 12 учебных заведений специально для горских национальностей Северного Кавказа». Вырастала молодая национальная интеллигенция.

Балкарские поэты не замечают роста читателя, не поспевают за его художественным вкусом.

В устойчивости лобовой агитки в балкарской поэзии также сыграл свою роль несколько замедленный по сравнению с центральными районами ход процесса коллективизации в национальных районах страны. Здесь она была завершена лишь в 1934—1935 годы. Следовательно, агитация за колхозы и борьба с кулаками оставались актуальной задачей. Однако она уже не являлась главной проблемой этого времени.

Через кино и театр колхозник уже знакомился с шедеврами мировой литературы. В Нальчике в 1935 году шли спектакли «Дама с камелиями» А. Дюма, «Коварство и любовь» Шиллера, «Ученик дьявола» Б. Шоу, «Та-

ланты и поклонники» А. Островского, «Иванов» А. Чехова, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Гибель эскадры» А. Корнейчука, «Чудесный сплав» В. Киршона, «Портрет» А. Афиногенова; несколько позже (1936—1937) — «Егор Булычов и другие» М. Горького, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Платон Кречет» А. Корнейчука, «Без вины виноватые» А. Островского и т. д. Обращает внимание, какую огромную идейно-художественную нагрузку несли театральные постановки, с каким живым интересом они посещались: передовикам труда в качестве поощрения представлялось право на бесплатный просмотр спектакля, все театральные афиши неизменно сопровождаются припиской: «ударник проходит по талону №...».

Как ответ на настойчивое требование жизни появился роман «Черный сундук» А. Аппаева в Карачае, роман «Зарево» Дышекова и повесть «На берегах Зеленчуков» Абукова в Черкесии, главы романа «Дорога к счастью» Т. Керашева в Адыгее.

Необходимыми стали такие качества поэзии, как экспрессивность, эмоциональность.

Знаменем времени, ответом на запросы жизни явилось и то новое веяние, которое пришло в балкарскую литературу с Кайсыном Кулиевым. Его сформировала эта выросшая среда — он чувствовал так, как чувствовала эта среда.

Он не испытал «болезней» поэзии 20-х годов. Для него не было вопроса — принимать или не принимать культурное наследие, в частности фольклор и творчество К. Мечиева. Ему не пришлось ориентироваться на рекомендации местной критики, призывавшей не учиться у Толстого и Лермонтова. Конечно, ему в определенной мере мешало давление ошибочных тенденций (судьба стихотворения о всаднике, первого сборника стихов и т. п.), но он не воспринял их, а сопротивлялся им. На него воздействовала русская литературная сре-

да, которая к середине 30-х годов в основном освободилась от формалистических и вульгаризаторских издержек 20-х и начала 30-х годов.

К. Кулиев с самого начала творческой деятельности попал в окружение высокой духовной культуры. В эти годы (1934—1939) он был студентом Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. Ему довелось познать могучее искусство таких мастеров, как Леонидов, Тарханов, Москвин, Сахновский. Его педагогами были одни из лучших в то время режиссеров — А. Попов, И. Судаков.

Замечательные русские поэты Маяковский, Блок, Есенин навсегда вошли в сознание К. Кулиева в мастерском исполнении В. И. Качалова. Классические образцы русской и мировой литературы открыли ему Остужев, Хмелев. Разнообразен круг его читательских интересов. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Белинский и Писарев, Тютчев и Блок, Есенин и Маяковский, Н. Тихонов, Флорбер и Ромен Роллан, Гёте и Шекспир, Гарсиа Лорка и Антонио Мачадо были его первыми привязанностями. Многие из них остались с ним на всю жизнь.

Эти же годы — начало переводов на балкарский язык. Первые из них — «Песня о Соколе» М. Горького, пьесы Лопе де Вега.

Актером Кулиев не стал. Его тянуло к поэзии, его призвание было в ней. Так Кулиев пришел в Литературный институт. Одновременно с учебой в ГИТИСе он посещал вечернее отделение Литературного института им. А. М. Горького.

Степень и характер влияния этой учебы сказались на его творчестве в различные периоды по-разному. Высокоинтеллектуальная атмосфера, проникновение в жизнь искусства, школа Станиславского обогатили дарование молодого поэта, дали ему высокую культуру и спасли от провинциализма поэтического мышления.

Кулиев проходил науку образного мышления.

Стремление к образному воссозданию действительности сравнительно быстро привело Кулиева уже в раннем творчестве, в отличие от декламационной балкарской поэзии того времени, к поискам художественности. И причиной первоначального неприятия балкарскими поэтами Кулиева было не что иное, как столкновение двух школ: для одной — понятие социального могло найти выражение только в агитационном, прямолинейном, для другой — идейное выявлялось через художественное.

Приход Кулиева в литературу и его выступление против схематизма были новым неизбежным поворотом в ней, вызванным необходимостью поисков форм действительности поэтического слова, то есть поворотом к реалистической литературе.

Анализируя стихи балкарских поэтов (1933), П. Максимов в статье «Поэты Кабарды и Балкарии», вышедшей в журнале «На подъеме», писал: «...эти стихи и сильны и слабы в одно и то же время... Передовые статьи из газет, написанные стихотворным размером и с рифмой». Сказав о роли газетных передовиц, автор статьи продолжает: «...но для выражения тех же самых идей, мыслей, положений... у писателя, если он художник, есть свои специфические художественные, образные средства. Не рассказывать надо, а показывать, давать не лозунги, а образы людей, положения, из которых читатель сам сделает нужный нам вывод... Чем ярче, чем убедительнее, художественнее показ, тем глубже он воздействует на эмоциональное восприятие читателя... тем самым организуя соответствующим образом его сознание». Он писал, казалось бы, об известных особенностях художественного мышления. Но они тогда не были открыты балкарскими поэтами, вынужденными, по существу, начинать на «чистом месте». Сложность становления молодой литературы как нельзя лучше выражена в собственном признании поэтов:

«Нельзя у нас иначе. Наши работники на местах не понимают художественных стихов, смеются над ними и требуют агиток».

«Да и сами мы не знали, что такое художественность, «образ». Никто никогда нам не объяснял, не говорил об этом, мы писали, «как бог на душу положит», и думали, что пишем хорошо».

П. Максимов справедливо напоминал балкарским поэтам о тяге читателей к художественности, о развитии художественного вкуса человека с культурным ростом общества: «...не понимают сегодня, поймут завтра. Сама жизнь поправила «смехачей»: аульское население подхватывает как раз те из песен Гуртуева и Ульбашева, которые наиболее художественны».

Одной из особенностей всех советских литератур является постоянное пополнение состава ее творцов за счет представителей широких народных масс. Массовому притоку писателей способствовала острота переживаемых событий, в которые было втянуто большое количество людей. В начальные годы развития советских литератур опытных мастеров было несравненно меньше, чем молодых, которые рассказывали о ведущих идеях века, не только не умея, но и не зная, что нужно *показывать, воспроизводить*.

Причин для этого было много. И одна из них та, что в период становления новых идей сам рассказ о них имел не менее важное значение, чем художественный их показ.

А. Фадеев в докладе об итогах XVIII съезда ВКП(б), прочитанном им на собрании московских писателей (1939), говорил: «Сила наша пока что еще не столько в мастерстве, сколько в том, что мы — искусство первой в мире страны социализма. Нам первым выпало на долю счастье рассказывать людям о социалистической жизни и о том, как она была завоевана. Нам выпало на долю счастье — детскими еще губами произнести такие слова

в художественном развитии человечества, какие до нас не мог сказать ни один, даже самый крупный из художников прошлого». Лучшие произведения К. Кулиева были первым шагом на пути прихода балкарской поэзии к исконному назначению литературы — *художественному* воспроизведению жизни в ее *многообразных проявлениях*. То есть прихода ее, в определенной мере — восстановления (учитывая опыт К. Мечиева) в реализме.

Внутренняя эволюция художника — процесс сложный. Трудно и постижение этого процесса.

Ранний Кулиев, с одной стороны, отталкивался от карачаево-балкарской поэзии. И тогда вносил в нее что-то новое. С другой стороны, его несло по течению продолжавшего господствовать декламационного стиля, и тогда его произведения терялись в общей массе «дежурных» стихов.

«Старой Балкарии» — одно из ранних стихотворений Кулиева (1935). Его сходство с традициями так называемых социальных стихов поэтов старшего поколения явное. Вот, например, стихотворение А. Уртенова «Старое время».

О старое время, старое время,
Обездоленного высасывавшее (истощавшее)
время!

Душу бедняка заживо
В могилу зарывшее время!..
Скольких тысяч людей сердца
Жгло ты, подобно соли!
Плавало их тела в огне,
Подобно раскаленному воску!

.
Разве мало крови пролило ты,
Не считаюсь (не пожалев), что это обездоленный,
А он, несчастный горец, при тебе
Каких насилий ни испытал.
Там, где придавило его насилие,
Остался он, не смог двинуться вперед.

О жестокое время! Почему
Так поступило ты с ними,
Остался сиротливый Карачай,
Оплакивая свое невежество!..

(Подстрочный перевод)

Исследователь творчества А. Уртенова — П. Балтин пишет, что эти «строфы выгодно отличаются от других написанных на эту тему Азретом Уртеновым своей повышенной эмоциональностью. В них поэт отходит от агитационной оголенности; меткая метафоричность, высокий накал чувств, сгущенная образность усиливают их».

В 20-е годы подобная «эмоциональность» действительно могла расцениваться как достижение. Но в целом стихотворение довольно отвлеченное. Ее стилистика — это рифмованная стандартная речь, не получившая эстетического преломления. А точнее — это штампы народного красноречия. «Высокий накал чувств», пожалуй, единственное относительно существенное достоинство этого произведения.

В «Старой Балкарии» Кулиева также слышится гнев поэта. Он клеймит черных насильников, стремится воссоздать образ грустной Балкарии, обрисовать мрачную, кровожадную фигуру богача. Однако читатель остается безучастным, он воспринимает это умом, но не сердцем. Самое добросовестное перечисление горестей или радостей еще не есть художественное произведение. А это стихотворение представляет собой такое перечисление:

О старая Балкария, как ты была горька!
Много душ жевали горькую жвачку (жизни).
Много бедных на поле, на долу погибло.
В котле горечи горели, кипели.
Черноглазые девушки в сердца
Ножницы вонзали, истекали кровью.

О, горький кинжал, к скольким сердцам
Кровавую дорогу проложив, красную кровь пролил,
Черное лезвие свое наполнив кровью,
Сколько животов, вспоров, ты прошел!..

(Подстрочный перевод)

Здесь те же штампы народного красноречия. Трафаретные, заношенные выражения, не переосмысленные, не обработанные, целиком переключались в стихотворение.

Стихотворение К. Кулиева «Кундуз» (1938) написано на ту же тему, что и «Старой Балкарии».

Промозглая холодная ночь была на дворе.
Глухо лаяли собаки,
Буран глухо выл,
Где-то слышался плач ребенка.
Кундуз в сакле бешмет шила,
Сама себе тихо песню напевала.
В той песне то любовь слышалась,
Или, жалобу исторгая,
Сливалась она с воем бурана,
Из сакли грустно, тяжело вылетела.

(Подстрочный перевод)

Старая горянка Кундуз шьет бешмет, но не для мужа, не для сына, а для бая. В стихотворении нет нагнетения черных красок, как в «Старой Балкарии». Но старая Балкария видна лучше в этом произведении. Горянка, склоненная над шитьем у очага. Спит занесенный снегом аул. Слышен будто отдаленный лай собак, плач ребенка, свист метели. И многое еще дорисовывает воображение: словно вымер аул. Но нет, он только притих, словно прислушиваясь к себе. И конечно, почти в каждой сакле — полумрак, отсветы затухающего очага. Снежинки свободно влетают в широкий дымоход, мгновение еще светятся в дыму, прежде чем с легким шипе-

нием исчезнуть в огне; иные, невредимо проскочив сквозь дымовую завесу, ажурной пушинкой садятся на не тронутый огнем конец полена. Женщина медленно шьет или прядет шерсть, дубит кожу. И поет. Поет тихо, горестно, задумчиво. Ей вторит метель... И еще: так рождалась песня. Как вздох, из самых глубин души человека. Песня о горькой женской доле, песня о горячей загубленной любви, о герое-заступнике народном, о смелом охотнике; о занесенном обвалом сыне, муже, отце.

«Кундуз» — любопытный пример динамики поисков Кулиева. Борьба двух стиливых начал — реалистическо-го и традиционного — составляющая характерную черту всей его ранней поэзии, наблюдается здесь в одном стихотворении. К отчетливо завершенной мысли автор «приделал» еще такое «окончание»:

Горянки — наши матери —
Много таких ночей насчитали,
Много ночных метелей прослушали,
Жили, устав от чужой работы.
Много ночей шерсть чесали,
Много грустных ийнаров спели.
Много слез капнуло в золу.

(Подстрочный перевод)

В авторской «расшифровке» идеи стихотворения проглядывают некоторые опасения быть непонятым. Например, Кундуз могли-де принять за исключение, если бы автор не «разъяснил», что это «горянки — наши матери», все, что рассказано о Кундузе, — это о всех балкарских матерях.

Если «Старая Балкария» и «Кундуз» — резко выраженные примеры двух стилей, то другие («В ауле», 1936; «На берегу Баксана», 1937; «Су-Аузу», 1937; «Кавказ», 1939) представляют причудливое их переплетение.

Характер поэтического мышления Кулиева наиболее отчетливо наметился в таких стихотворениях, как «Песенка горной речушки», «Здравствуй, утро!», «Во дворе», «Человеку, рожденному с зарей», «Яблоко», «Радость», «Песенка мальчика, скачущего на ослике».

Эти стихотворения представляют собой новое явление в балкарской поэзии. Они-то и были встречены в штыки как «безыдейные». На первый взгляд в них описаны пейзажи и только пейзажи. Здесь действительно много зеленого шума, прозрачного воздуха, птичьего гомона. Но много и мысли. В стихотворении «Песенка горной речушки» на первом плане — образ речки, но за ним размышления о взаимоотношениях человека и природы.

Я — горная речка,
Всю жизнь я тороплюсь.
Эй, где же ваша кружка?
Попробуйте на вкус!

Я услужить вам рада,
Отведайте глоток!
Во мне снегов прохлада
И камня холодок.

(Перевод Е. Елисеева)

Обращение поэта к пейзажам вызвано не просто любовью природой, а стремлением видеть человека в его неотделимости от окружающего мира.

Как талантливая пейзажная зарисовка воспринимается поначалу и стихотворение «Во дворе».

Мать принесла воды из родника,
А солнце только-только поднялось.
Порозовели в небе облака,
Расцвел в саду красавец абрикос.

(Перевод Е. Елисеева)

Мгновенно вспыхнувшая ассоциация раскрыла гордость поэта за родную землю, осознанное чувство бесконечной любви к ней. Родниковая вода, вода Балкарии, по священной силе своей равна у Кулиева материнскому молоку, — она питает народ-богатырь. Она связана с общечеловеческим воспеванием родины, которая у балкарцев и карачаевцев живет в формулах — «глоток воды моей родины» и «камень родины», «горсть родной земли». Отсюда очевидная весомость образов воды и земли у Кулиева. «Это вода земли, где мы рождены, //Которую и отцы наши пили, //Она выходит из глины, которую и на золото// Мы не променяем». (Подстрочный перевод)

Основную тональность лирики Кулиева 1934—1939 годов определяет стихотворение «Здравствуй, утро!». Так назвал поэт и свой первый сборник.

Утро со светлым лицом,
С пеньем проснувшихся птиц,
С хлопотами людей,
Утро мое, привет!

Звонким садам привет,
Зрелым плодам привет,
Ветру, бегущему с гор,
Свежему ветру, привет!

Шлю вам привет, облака,
В Грузию уплывающие,
Мнущие травы девушки,
В росах бахчи, привет!

Шелесту листьев кланяясь,
Кланяясь ясному небу,
Кланяясь радости детской,
В шумное утро вхожу!

(Перевод Д. Голубкова)

Утро Кулиева — это «утро», «светлое лицо» Балкарии, советской страны, молодое, крылатое, звенящее; все это — поэзия жизни, которую он остро ощущает, но художественно изображает еще неуверенно. Зерно будущей поэтической стихии Кулиева — неистребимая любовь к жизни — заложено уже здесь.

В этих стихотворениях Кулиева — один из его путей к реалистической поэзии. Окружающий мир научил его мыслить конкретно, реалистическими образами, красками.

Другая ярко выраженная особенность художественного становления Кулиева — пристальный интерес к фольклору. Поэт ощущает мощь народного творчества, восхищается мастерством безымянных художников.

Старинные горские песни постоянно останавливают его внимание. Перед удивленным взором поэта в горских песнях раскрывается богатейшая история родины, возникают зримые очертания жизни, полной опасностей.

В 1940 году в своем первом и единственном в те годы высказывании о поэзии К. Кулиев говорит: «Народ запечатлел в своих песнях и сказках кипение сердца, свои думы, жажду счастья, горе и радость. Эти песни, победив время, дошли до наших дней».

В своих декламационных стихотворениях Кулиев горячо, искренне писал о желании отдать все силы, если потребуется, и жизнь ради идей Октября, коммунизма, служить угнетенным мира. К художественному осознанию великого понятия — народ он пришел через балкарский фольклор, через восприятие дум и чаяний балкарцев, воспетых в песнях.

Кулиева с раннего детства окружали народные песни. «У балкарцев бытует поговорка: «Быть без песни — бездомным быть». Мальчиком я знал много народных песен и очень любил петь. На свадьбах и разных пиршествах тамада сажал меня рядом с собой и заставлял

петь, что я делал с большим удовольствием. Очень часто взрослые девушки просили меня петь для них любовные песни. Я стеснялся и убегал, но они все же ловили меня и вынуждали исполнить их желание. Я, прикрыв глаза, пел им горячие песни о любви. Молодые горянки, которые тосковали по своим любимым, оказались самыми лучшими слушателями. Почувствовав это, я со временем перестал стесняться и убегать, с радостью соглашался петь и в награду получал самые ласковые слова, поцелуи, а также конфеты и платочки. Так я в детстве был вроде маленького ашуга», — вспоминает поэт.

Став поэтом, Кулиев по-новому открыл для себя фольклорную песню:

Служит, словно посох чабану,
Эта песня моему народу.
Вместе с ним ходила на войну,
За века прошла огонь и воду,

Посетила каждое жилие —
Это ведь дано не всяким песням!

*(«Старинная песня».
Перевод Е. Елисеева)*

А посох был нужен чабану не только чтобы погонять овец. С одним лишь посохом мог он сразиться с волком, на него опирался в раздумье и будучи утомленным; посох был своеобразным календарем и бухгалтерской книгой, на нем нарезался отсчет дней, велся и счет скоту.

Кулиев нашел объемное сравнение. Оно пришло уже не как случайная находка, а в результате раздумья над содержанием фольклорной поэзии — как своеобразное отражение повседневной жизни народа, как воплощение его совести.

Фольклор входил в поэзию Кулиева одновременно и как средство познания народа, и как школа образной передачи явлений.

Стихотворение «Белый башлык» выделяется среди многих произведений раннего Кулиева изобразительной силой, композиционной завершенностью, лаконизмом.

Сосредоточенно-эмоциональная песня-рассказ написана в духе карачаево-балкарских кюу. Это один из многочисленных видов народных песен — песен-плачей. У горцев Кавказа не было, как, например, у русских, плакальщиц. Песня-плач слагалась каждой горянкой — матерью, женой, дочерью, любимой девушкой, чаще всего сестрой умершего или погибшего. Горская этика, предполагавшая сдержанность, целомудренный стоицизм в проявлении чувств, отступала перед силой большого человеческого горя, и сдерживаемое до этого чувство любви к ушедшему из жизни близкому человеку, хлынув наружу, выливалось в трагическую безыскусственную исповедь.

Кулиев использовал форму народной песни. Его стихотворение — плач матери погибшего. Упоминается «германская война» — имеется в виду первая империалистическая война. Среди народных песен предоктябрьского периода самые распространенные и самые драматические сложены именно о войне «германской» или «японской». Но дело не в том, на какой войне сложил голову горец, а в том, что его не стало, не вернулся к матери сын, что никому из них война не нужна, что кто-то повинен в неизбывном горе женщины.

Кюу называются именем того, о ком они сложены. Кулиев назвал свое стихотворение «Белый башлык». Это придает стихотворению обобщенный характер. Здесь образ белого башлыка — нарядного, праздничного — символ радостной жизни, счастья:

Красивый белый башлык сшила я сыну,
Которого любила больше души своей.
Красивый белый башлык взял он,
Чтобы на счастье носить.

(Подстрочный перевод)

Поэт пишет: «Помню, как на черной бурке белый башлык ветер теребил». На этом «помню» и строится все стихотворение. Мать всю жизнь будет помнить именно эту картину прощания, а она будет вызывать все остальные воспоминания. Подобная, особенно запавшая в душу картина и служила обычно подсознательным первотолчком к возникновению кюю.

От народной песни идут простота и отсутствие всякой стилизации. В четырех строфах уместились целый мир душевных переживаний, жизнь человека в ее прошлом, настоящем, будущем. Исчезла описательность и вместе с ней и длинноты, характерные для большинства стихотворений этих лет.

Автор не прибегает к «помощи» шаблонных метафор («горючие слезы»), избегает жалостных нот. Мысль и строй стиха компактны.

Ветры с гор к нам в долину спускаются,
Солнце скроется — утром взойдет.
Каждый путник домой возвращается,
Только сын мой ко мне не идет!

(Перевод В. Звягинцевой)

А в те годы карачаево-балкарской поэзии было свойственно в поисках выразительности «растравлять старые раны», многие писали нарочито слезливо, натуралистически.

«Белый башлык» не оставит читателя равнодушным, он скорее дойдет до него, чем, например, такое стихотворение, как «О войне», где поэт агитационно прям, где он заявляет:

Грабительскую войну я ненавижу.
Она многих людей заставляет слезы проливать,
Многих детей оставляет сиротами.

(Подстрочный перевод)

Вклад Кулиева в развитие балкарской литературы в том, что он, преодолев трафаретность тематики, изобразительных средств современной ему балкарской поэзии, создал такие стихи, как «Белый башлык».

В 1940 году Кулиев вернулся из Москвы на родину и как бы с новой силой ощутил и своеобразие страны гор, и обновление жизни Балкарии.

Его поэзии предстоит отразить мощь горного края, о которой, по убеждению поэта, невозможно говорить размеренно, спокойно, потому что:

Жизнь гор такая — это скачущий
в сумерках
Всадник, несущийся во весь
опор.
Полет всадника остается знаком
Жизни гор всегда.

«Горная баллада» — своеобразная поэтическая программа. Стремление поэта вобрать всю полноту внешнего мира, наметившееся в первые годы, получает здесь емкое образное воплощение:

Пусть отражаются в тебе мои горы,
Как в глазах буйвола.
Вот вновь несутся всадники,
Ты услышишь звон их стремян.

Чтобы суметь выполнить такое требование поэзии,—

Как молния над ущельем,
Стремительной будь, горная баллада!

(«Горная баллада».
Подстрочный перевод)

Иначе она не поспеет за движением жизни обновленных гор, где мчатся рядом и всадник и машина.

В лукавом заключительном стихе «Пусть Тихонов простит меня!» явно слышится уверенность, что автор

«Баллады о синем пакете» (похоже, впрочем, что здесь не обошлось без подражания) одобрит избранный поэтом стиль и характер его поэзии.

Программный характер «Горной баллады» отнюдь не означает, что Кулиев задался целью в дальнейшем писать в таком же словесно-звуковом стремительном плане. Не является баллада также и находкой ни в тематическом, ни в жанровом отношениях.

Как жанр баллада не удалась. Вместо напряженного, насыщенного балладного сюжета перед нами мозаика из путевых заметок, каждую из которых легко можно удалить без нарушения общей композиции произведения.

Мчится машина с шумной ватагой пионеров. Мчится рядом всадник. Проходят разрозненные картины: охота на туров, свадьба в колхозном ауле. Определенную центрирующую роль играет образ дороги, символ движения, а также ощущение стремительности бега событий, образ автора, для которого эпизоды лишь часть единого целого.

Однако смысл «Горной баллады» в другом — в восприятии писателем своей поэзии как непосредственного отражения облика родного края и ощущения, пока еще художественно почти не выраженного, особого духа этого края.

Не случайно именно здесь упоминается овейный неповторимой романтикой мужества Важа Пшавела, певец Кавказа. Н. Тихонов и В. Пшавела — два поэтических имени, к которым молодой Кулиев питает особое уважение.

Небезынтересно, что спустя 20 лет Н. С. Тихонов выбирает из поэзии Кулиева для перевода также и его ранние стихотворения: «В горах», «Дождь застал нас в дороге». В них он услышал, по-видимому, дорогие сердцу голоса волевой натуры, не знающей покоя.

Пусть над дорогой гремит обвал,
Но вперед мы идем, скользя,
Ливень, ревуший потока вал,
Но нам перед ним стоять нельзя.

Снова копытами тьму толочь,
Молнии бьют обвалов края,
Трудно ехать в такую ночь,
Ехать в таких горах, друзья.

Молний и громов полон простор
В ночь, когда буря идет, круша.
Что ж! Пусть опасны дороги гор,
Мужеству здесь учись, душа!

(«В горах».)

Перевод Н. Тихонова)

Этот отрезок творчества Кулиева — любопытная картина соединения еще юношески восторженного восприятия жизни, с одной стороны, и стремления к углубленному осмыслению ее — с другой. Здесь встречаются лучащиеся, брызжущие весельем лирические эскизы («Мальчики и теленок», «Мальчики и малина»), задорный свадебный тост в форме народного алгыша¹ («Песня тоя²»), дневниковая запись о первой охоте в горах («Первый раз на охоте»), сочетающая искристый юмор с несколько упрощенной философией традиционного «старого» и «нового», притча («В дороге») — попытка понять внутренний мир людей («Мои соседи»).

Порой наблюдения метки, характеристики точны, образы объемны, но зачастую поэт как будто уходит от своих же принципиальных находок, и тогда появляются

¹ Алгыш — задравная, здравица. Популярный вид народной поэзии. См. примеры алгыша в кн.: «Балкарская народная лирика». Каббалккнигсиздат. Нальчик, 1959, стр. 14—17. Алгыши импровизируются почетными гостями на семейных торжествах. Вид исполнения — речитатив.

² Тоя — любые торжества (свадьбы, рождение ребенка, проезд гостя и т. д. или просто увеселительное празднество, сопровождаемое танцами).

стихотворения, не выходящие за пределы факта узко личного, не содержащие художественного обобщения.

Вот стихотворение «Впервые на охоте». Охота, основное занятие предков поэта, для нового жителя Балкарии превратилась в своего рода спортивное увлечение. Содержание стихотворения несложно. Старый охотник убил тура без надобности. Поэт жалеет животное, любуется его красотой, он поражен тоской в глазах тура. Старый же охотник находит свою поэзию в меткой стрельбе, удачной охоте. Тема не нова, но она таит возможности глубоко поэтического ее разрешения. Утомительно длинно, скрупулезно детально излагается процесс охоты.

Они увидели тура, когда он стоял на выступе скалы.

Закинув рога, тур так красиво стоял.
Я бы ни за что не выстрелил в него,
Но старый охотник его не жалел!

(Подстрочный перевод)

Есть чувство, но нет его поэтического выражения.

Подстреленный охотником тур подпрыгнул и скатился со скалы, за ним к подножию горы упала горная коза. Охотник весел, а поэт не может забыть грустные глаза умирающего тура.

Первая охота производит впечатление на каждого. Но впечатления молодого Кулиева здесь не отличаются новизной. Стихотворение описательно, фотографично. В этом случае личные ощущения поэта не поднимаются до обобщения.

Однако Кулиев упорно стремится к обобщению. Стихотворение «Дождь застал нас в дороге» тоже говорит о самом обычном, но здесь все выражено иначе:

Этот дождь нас застиг в дороге,
Когда ехали мы из Баксана,
Коням вымочил гривы и ноги.
Налетевши, как вестник неожиданный.

• • • • •
С мокрых бурок потоки стекают,
Башлыки наших бурок мокрее,
След копыт струи враз заливают,
Кони наши идут все скорее.

• • • • •
По бахчам, до краев напоенным,
Обогнав нас, все дальше он гнался,
Состязаться с ним трудно и конным,
Раньше нас он и в город ворвался.

(Перевод Н. Тихонова)

Того, кто не знает горного грозового дождя, не испытал зачарованной радости при виде его грозной красоты, стихотворение Кулиева вводит в эту сказочную картину. А тот, кто наблюдал это чудо природы, читая эти строки, испытывает новое волнение.

Однако основным объектом для своей поэзии в эти годы Кулиев избирает труд людей — основу основ жизни на земле.

Стремясь очертить реальные плоды труда, его исполненность радостью, он обращается к осени, он говорит о «темном винограде с отливом синим», что с веселой песней собирают смуглые горянки: о море пшеницы, что «вдыхает» под тяжестью литого колоса; о сочных арбузах, что «отдыхают в тени золотой кукурузы»; о яблоках, похожих цветом на галстуки пионеров, которые пришли собирать их; о душистом сене, что косят, «встав с петухами».

Становление реалистической изобразительности почти всегда сопровождается издержками натурализма, фактографичности. Цикл стихов Кулиева, объединенных общим наименованием «Загорелые руки» (точнее «Обожженные солнцем руки»), тематически многообразен, но художественно слабее его прежних работ, изображаемые явления как бы отпечатываются на пленке, потом поэт комментирует эти явления.

Фактографичность приводит к банальности красок, расхожести слов. «Девушки черный виноград собирают, длинные косы лежат вдоль спины, глаза у девушек черные, как виноград, который они собирают». Собирают виноград непременно в корзины и, конечно, поют при этом (как водится). Наступает вечер. «Работу оставляют черноглазые девушки, на обожженных солнцем руках запах винограда».

Но вот отмеченный яркой индивидуальностью другой кулиевский образ — «ветер, как шаловливый мальчик, вобрав запах яблок, убегает. Прозрачный воздух поздней осени этим запахом наполняет».

Ветер шаловливый, как мальчик; воздух поздней осени — прозрачный; во всем этом как будто ничего нового нет. Но когда ветер именно «шаловливый, как мальчик», «вобрав запах яблок, убегает», и «прозрачный воздух поздней осени этим запахом наполняет», — и ветер, и запах, и воздух — все оживает. Не все образы так выразительны, так содержательны. Несмотря на всю «вещественность», слова о загорелых руках, призванные воспеть труд человека, слишком обыденны и явно недостаточны для художественного воплощения. Тема труда получила более совершенное раскрытие в другом цикле — «Мои соседи».

Это «непридуманый» рассказ о простых людях, для которых труд давно перестал быть только материальной необходимостью, а является источником радости, духовного обогащения. Здесь соединены в одном лирическом потоке образы, прежде едва намеченные в некоторых других стихотворениях («Табунщик», «Чабан») ¹;

¹ Стихотворения «Табунщик» и «Чабан» в оригинале датированы 1939 годом (Жайсын Кулиев. Избранное в 2-х тт., т. I. Нальчик, Каббалккнигоиздат, 1958, стр. 56—57—58. На балкарском языке), в русском переводе — 1940 годом. В сборник «Здравствуй, утро!», по текстам которого мы вели анализ ранних произведений поэта, эти стихи не вошли. В одной из рецен-

в «Моих соседях» перед нами предстает ряд самобытных портретов. Авторская оценка выявляется через раскрытие внутреннего мира, психологии людей.

Бригадир Соллоу на первый взгляд кажется чуть ли не комической фигурой, пародией на нерадивого колхозника:

Он в ладу с бужой шипучей,
Но особой нет беды,
Если, скажем, выйдет случай —
Поднесут «шайтан-воды».

Знаменитую папаху
Нахлобучив на глаза,
В пляску кинется он с маху...
Вот что делает буза!

*(«Бригадир Соллоу».
Перевод Е. Елисеева)*

Так заканчивается стихотворение. Автор ничего не говорит в «защиту» бригадира и не осуждает его, потому что Соллоу без хлопот и забот не прожил бы и дня. Без честного труда сама буза потеряла бы для него всякую прелесть. Он так веселится, сыплет шутками потому, что чувствует внутреннее удовлетворение от своего труда. Именно это окрыляет его. Солнечный, благодушный юмор пронизывает все стихотворение.

Пафос труда приобретает широкое звучание в стихотворении «Слепой столяр Кайсын».

Что может быть для человека тяжелее, как не видеть переливов красок окружающего мира. Кулиев заметил и воспел сладость труда благодетельного и для

зий на сборники Кулиева (С. Львов. По горным дорогам. «Дружба народов», 1958, № 1, стр. 236) стихотворение «Табунщик» отнесено к послевоенным произведениям автора. Произошла ошибка, по-видимому, потому, что стихи в рецензируемом С. Львовым сборнике «Мои соседи» (Кайсын Кулиев. Мои соседи. Нальчик, Каббалккнигоиздат, 1957) не датированы.

обделенного жизнью слепого столяра, у которого к тому же «на свете никого — ни матери, ни сына».

Образ слепого столяра согрет теплым чувством. Недаром именно его избрал поэт своим тезкой, ставя себе в пример, как бы благоговейно преклоняясь перед его силой. Поэт замечает, что и сам он рос в колыбели, сделанной этим столяром.

Еще мальчиком удивлялся он мастерству слепого тезки:

Я помню вечера,
Лимонный свет заката,
И пальцы столяра,
Как пальцы музыканта.

И — как знать? — быть может, из этого удивления родилась та музыка труда, которая звучит во всей поэзии Кулиева. «Моя старенькая мать считает, — вспоминает поэт, — что я в детстве чрезмерно много и не по силам трудился, испытал слишком много тяжелого, и до сих пор горюет об этом. Но на это я ответил ей стихотворением «Слепой мастер». Герой этой вещи был нашим соседом в ауле, и я очень любил доброго и веселого умельца».

Несмотря на то, что перевод авторизованный, он значительно расходится с оригиналом. Особенно не вяжутся с задумчиво-мягкой, окрашенной сыновней любовью напевностью оригинала кричащие, назойливые строки:

Девчонки, как на грех,
Красавицами стали,
Глядят — не подступись,
И пудрятя часами,
А мы обзавелись
Роскошными усами...—

строки, которые были бы уместны, например, в главах о бригадире Соллоу или зурначе Хажосе.

Вызывают досаду строки:

За мужество его
К награде не мешало б.

(Перевод Е. Елисеева)

Подвиг слепого столяра не из тех, что возвеличивается наградой. Слова о награде выглядят чужеродными в произведении.

Горд своим трудом кузнец Карабаш, который рассказывает:

— Дескать, вы слышали сами,
Даже Киров знал меня.
Я вот этими руками
Подковал ему коня.
Как просил меня: «Уважь,
Сделай милость, Карабаш!»

(Перевод Е. Елисеева)

Горд и зурнач Хажос, который и мастерит зурну, и сам на ней играет; на праздниках он незаменим; горд и сапожник Мухаммат, убежденный, что

...надо
в людях понимать,
Чтобы делать сапоги.

(Перевод Е. Елисеева)

Без песен ашуга Бекира не обходится ни одна свадьба. Даже мельничиха Аминат, любительница поговорить, «без работы... умерла б от скуки».

«Трудолюбивые горцы» — стало общепринятым в характеристике народов Северного Кавказа. Пахотные земли в горах измерялись не гектарами, они метрами отвоевывались у камня. Женщина, приходя к соседке посидеть, брала с собой шерсть и веретено. Глубокие старики, сидя на завалинке, непременно что-то ма-

стерили: домашнюю утварь, пастушьи посохи, веретена, — руки, привыкшие к труду, не могли покоиться без дела.

Кулиев почувствовал эту черту характера своего народа и раскрыл ее в реалистических бытовых картинах. Тут встретились традиции балкарского фольклора и реалистической поэзии. Кулиев использовал старую песенную форму — ийнар.

В ийнарах в большинстве случаев первые два стиха четверостишия по содержанию не имеют ничего общего с двумя другими, в которые и вложена ведущая мысль.

У предгорья, где бьет нарзан,
Сосны старые в два обхвата.
Был бы ты не рабом, Таукан,
Или я б не была богата!

Где положишь ты свой кинжал,
У заветного камня какого?
Если б только ты пожелал,
Я б ушла из дома родного.

Свой кинжал, чтобы после забрать,
Ты у серого камня положишь.
И отца я оставлю, и мать,
Ты своих оставить не сможешь.

Нередко вся строфа связана общей мыслью. Это зачастую случайное совпадение.

Ты ушел на охоту опять,
В горы, где быстроногие козы.
Побегу я тебя встречать,
На дорогу глядеть сквозь слезы.

И та и другая формы нужны только для рифмы и не регулируются внутренним движением всей песни, то есть строятся ийнары по принципу свободных параллелей.

До свадьбы осталось четыре дня.
Пойдемте, подруги, на луг поглядим:
Много ли женихова родня
Овец и коров дает за меня.

Гылжу¹ неплохую дает мой жених,
Украшен резьбою единственный рог,
Она, говорят, в селеньях других
Была уж калымом за семерых.

Тучи закрыли солнечный свет.
Будет ли дождь, будет ли снег?
Добрые люди, дайте ответ:
Были рога у гылжи или нет.

(Перевод Н. Гребнева)

Песни отличаются более стройной композицией. Они имеют одновременно и повествовательный, и оценочный характер.

Размером ийнара написаны «Мельничиха Аминат», «Кузнец Карабаш», «Сапожник Мухаммат».

Герои Кулиева — это люди, которые окружают его, с которыми он сталкивается ежедневно и о которых у поэта сложилось определенное мнение. И здесь впервые наглядно выражается тот добрый взгляд на человека, то умение находить в нем прежде всего привлекательные качества, которые станут впоследствии характерной особенностью всей поэзии Кулиева.

Соседи Кулиева не только балкарцы. Среди них представители русского народа — учителя, врачи, агрономы, которые пришли на заре советской власти к народам Северного Кавказа с миссией дружбы и просвещения.

Кулиев говорит о любви к своему первому школь-

¹ Г ы л ж а — корова, буренка (балкарск.).

ному учителю, который дал ему в руки букварь, «втолковывал маленьким горцам премудрости школьных азов».

«Мои соседи» отличаются от прежних лирических опытов поэта, но не означают поворота, скажем, к созданию эпических характеров. Это тоже проба пера.

Цикл знаменует собой еще один шаг в сторону отказа Кулиева от декламационно-дидактического стиля.

* * *

Похож и совсем не похож на все созданное до сих пор Кулиевым цикл «Из тетради в Старой Руссе».

Это последние довоенные произведения поэта (январь — май 1941 года).

Прежде всего в них виден несравненно повзрослевший человек. Исчезли юношеская порывистость, стремительность. Поэт раздумчив.

Летом 1940 года Кулиев добровольцем уходит в армию. Новая обстановка располагает к сосредоточенности, наблюдениям. Разлука с родными местами навеивает легкую грусть. Голос поэта становится мягче, ровней.

Сегодня, в снежный день России, отсюда
Мне снова видятся мои горы,
И яблоками пахнет зимний день,
Малиной ущелья опять пахнут.

То вдруг явится к нему во сне родная горская легенда, «как тень орла, скользнет по скалам»; то среди сплошной снежной пелены «возникнет вдруг чегемский жар, в ущелье тропочка лесная покрыта листьями чинар...».

Под внешним спокойствием строк — сдержанное глубокое волнение. Поэт вслушивается, вглядывается в новую для него среду. Любуется. Думает.

среды выступают ярче, самобытнее, обогащая видение поэта.

Русская природа вызывает разные эмоции. Резко бросающиеся в глаза: громада гор и безбрежные русские степи, «русский мягкий снег» и горная «дикарка груша», в одних печах горят сосновые поленья, другие очаги согревает веселый жар чинары и т. д. В изображении появляется точность, объемность; возрастает роль детали.

То, что резче определилась писательская манера, еще не означает, что она утвердилась. Не все части цикла цельны, как приведенные разделы. Поэт подчас не умеет отчетливо очертить мысль. Отсюда длинноты, повторения. И наблюдения поэта еще не всегда глубоки. Русская жизнь предстала перед ним пока лишь внешней стороной, что вполне закономерно: за несколько месяцев пребывания в новой среде нельзя охватить всей ее глубины и сложности. Довольно часто это первые, поверхностные впечатления, литературные по характеру ассоциации.

* * *

Характер поэзии Кулиева этих лет в миниатюре отразила его интимная лирика.

Любовная лирика поэта 1934—1939 годов представлена всего пятью-шестью стихотворениями. В этом несомненно сказалось влияние балкарской поэзии. Суровое время 20-х — первой половины 30-х годов отодвинуло личное, что в известной мере было свойственно всей советской поэзии. В северокавказских литературах и во второй половине 30-х годов эта тема оставалась «неуместной». В балкарской поэзии только в 1939—1940 годах появляются единичные стихи в жанре ийнара. — «Песня девушки», «Письмо девушки» и т. д.

Первые интимные стихотворения Кулиева неглубо-

ки: «Встретиться бы с любимой еще раз и пожать ей руку; взглянуть бы ей в глаза и надолго запомнить» («О, если бы встретившись...»). В стихотворении «Мне кажется...» поэту представляется, что все существующие на свете песни посвящены его любимой, что все поэты земли воспевали ее облик; во всех стихах ее «глаза блестели», она, «словно солнце, песни озаряла».

Иногда поэту удается (стихотворение «Лейле») передать неуловимую романтику любви. Здесь ощутимо раскрыты неожиданность, внезапность любви. Она враз пробуждает неведомые доселе чувства, стремительно развивает их. Любимая вошла в судьбу поэта так же неминуемо, неотвратимо, как восходящее солнце «входит в сонный двор». Она ворвалась в его сердце властно, «без разрешенья, напролом — как ветер оснеженных гор вдруг спозаранок будит дом». Любовь захватывает поэта целиком, без остатка, пронизывает все его существо:

Ты нынче в жизнь мою вошла,
Вошла, как в землю теплый дождь.

Но здесь, как и в раскрытии других тем, удачи сменяются неудачами. Вместо чувства появляется схема, вместо его индивидуальных красок — традиционные сравнения (цветы, весеннее солнце, пение птиц, длинные косы, длинные ресницы, черные глаза, зубы белые, как снег, и т. д.), и встречаются повторения одних и тех же образов.

* * *

Несмотря на очевидную неровность, развитие К. Кулиева шло несравненно быстрее балкарской поэзии. Этому содействовала литературная учеба: более углубленный, своеобразный взгляд на фольклор, более

широкое, более гибкое восприятие поэзии Кязима Мечиева, русской и мировой литературы, с которыми он соприкасался более тесно.

Старого народного поэта К. Мечиева и молодого Кулиева связывает тесная личная дружба. Это не случайное добрососедство. Кулиева привлекло мастерство К. Мечиева. Старейшего поэта заинтересовало и обрадовало самобытное дарование начинающего поэта. Это было творческое содружество близких поэтических натур.

Все это многостороннее влияние на Кулиева на первых порах выразилось в обращении к темам, «не поощряемым» в то время в балкарской поэзии. «Вольная» тематика, не ограниченная рамками узко практического назначения, соответственно приближала к более «вольному» выбору средств выражения.

Усердная литературная учеба сама по себе, без жизненного опыта не формирует большого поэта. Несмотря на обусловленность поэзии Кулиева временем, поэту этого опыта не доставало.

Результат литературной учебы Кулиева сказался в лирике военных лет, когда поэт до дна постиг душу народа-воина. Большие идеи, прекрасные образы и чувства, насыщающие литературу, перестали быть чудесными, но отдаленными, недостижимыми, переселились на землю. Мужественные герои Н. Тихонова, Важа Пшавелы, Гарсия Лорки, Кязима Мечиева, защитники Балкарии от древности до гражданской войны зашагали рядом с ним. Его любимый поэт Лермонтов сдержанным и могучим голосом заговорил с ним. «Книжное» стало самой жизнью. И Кулиев вдруг постиг, что завораживающая сила этих волшебников, которых он боготворил и в память которых складывал стихи-посвящения,— в простоте и цельности. Этим объясняется резкий скачок в художественном становлении Кулиева в 40-е годы.

В начальные годы творчества Кулиевым написаны

три поэмы: «Зухра» (1936), «Песня об Иссе» (1937), «Ибрагим» (1937).

«Ибрагим» и «Песня об Иссе» рассказывают о событиях гражданской войны в Балкарии. Быть может, потребность полнее выразить тревожащие его мысли о больших эпохальных событиях и вызвала к жизни более вместительную, чем стихотворение, эпическую форму. Что касается «Зухры», то ее тема — судьба горянки в прошлом — была самой волнующей в те годы в караево-балкарской поэзии.

У горцев Северного Кавказа свобода, принесенная Октябрем, особенно отчетливо сказалась на судьбе женщины.

В древности на Кавказе существовал культ женщины. Отдельные черты его сохранились и в этике позднейшего времени. Женщина без опасности для жизни могла стать между дерущимися на кинжалах кровниками, и яростные кровники умирялись. Дав клятву верности в бою, в дружбе, прикладывались к груди матери, и ни одной измены такой клятве народ не знает. Имеются еще не записанные песни, в которых поется о женщине, вышедшей на бой вместе с мужем, взяв с собой в бешиках¹ близнецов. Когда муж погибает, она, взяв его ружье, продолжает стрелять, не переставая укачивать близнецов. Есть песня о сестре, которая в одном из боев, оставшись вдвоем с истекающим кровью братом, продолжающим отстреливаться до последнего патрона от наседавшего врага, играет ему на гармонии его любимые мелодии.

Неважно, что это легенды. Важно, что легенды создает народ и что образ горянки овеян такой славой. И эта же женщина в семье была бесправна. Бесправие принесли ей не народные традиции, а враждебные им силы — ислам и закрепивший его царизм.

¹ Б е ш и к — люлька, колыбель.

Трагична была любовь, замужество. Об этом как нельзя лучше повествует фольклор («Акбийче и Рамазан», «Зарият» и др.). Популярностью пользовалась песня Кязима Мечиева «Жалоба».

Карачаево-балкарские, как и все северокавказские советские поэты, много писали на эту тему. В 20-е годы теме освобождения женщины были посвящены стихотворения плоско-агитационного стиля, сопоставлявшие дореволюционную и послеоктябрьскую жизнь горянки и призывавшие ее смело выступать за свои права. В середине 30-х годов в карачаевской поэзии появилась более серьезная попытка разработки этой темы — поэма «Сафият» А. Уртенова (1934), «Залихат» Д. Байкулова (1935).

По-видимому, сюжеты этих произведений основаны на событиях, свидетелями которых были сами поэты, а также на рассказах людей старшего поколения, на фольклорных песнях. Называние поэм по имени героини также фольклорная традиция.

Во второй половине 30-х годов на указанную тему стали создаваться прозаические, драматические произведения («Чьи эти две могилы?» Салиха Хочиева, драма «Кровавый калым» Рамазана Гелыева).

Сюжет поэмы «Зухра» Кулиева не нов. Девушка из бедной семьи любит парня, тоже бедного. Но родители девушки хотят продать ее за калым богатому старику. Девушка умоляет мать не выдавать ее за противного ей старика. Мать непреклонна. Девушка бросается с такой же просьбой к отцу. Отец не может отстоять ее: он боится перечить жене. Развязка, как всегда, трагическая: девушка кончает самоубийством.

Автор сочувствует героине. Однако эпические характеры Кулиева не удались. О героях поэмы составляется весьма поверхностное представление: мать — жадная, жестокая женщина. Отец — добр, но безволен. Сама Зухра обрисована еще более схематично. Из двух ее мо-

нологов, обращенных к матери и отцу, узнаешь мало. Читая поэму, думаешь, где мысли ее, раздумья, душевная борьба между мучительной любовью к жизни и неизбежностью смерти?

Желая показать страдания своей героини, автор заставляя ее на протяжении поэмы плакать, кидаться в отчаянии на кровать; говорит, что она стала «как безумная», и поэтому она не вызывает никакого сочувствия. Любовь Зухры пересказана, а не раскрыта.

Люди, которых постигла судьба героини Кулиева, были в жизни, они не выдуманы. Слова, которые он вложил в ее уста, именно в таком виде, в каком мы их тут читаем, автор слышал не раз. Неудача Кулиева в том, что он их не переосмыслил, не придал им весомости и обобщения.

Октябрьская революция и гражданская война на Северном Кавказе имели свои специфические особенности, пока еще не отраженные в исследованиях. Они не получили должного изображения и в художественной литературе, как не воссозданы в ней во всей их масштабности и герои народной войны. Между тем известны десятки имен замечательных борцов, в памяти народа живы подвиги известных и неизвестных героев. Одни из них, Магомед Енеев, был выдающимся руководителем балкарской бедноты в борьбе за установление советской власти. Большое влияние на него оказало близкое общение с такими ленинцами, как Г. К. Орджоникидзе, С. М. Киров, Ной Буачидзе, Г. Г. Анджиевский, Б. Калмыков, П. Ф. Гикало.

«...Будучи членом Терского областного народного Совета от балкарского народа, Магомед Енеев вместе с Юсуфом Настуевым, а также с Султаном Калабековым проводили большую работу среди горцев», — рассказывается в «Очерках истории балкарского народа».

Широко известна песня о подвиге Султан-Хамида Калабекова, сложенная Кязимом Мечиевым по личной

просьбе С. М. Кирова. Султан-Хамид Калабеков погиб, заслонив собой Кирова, в то время Чрезвычайного уполномоченного ВЦИК на Северном Кавказе. «Контрреволюционные элементы решили вероломно убить С. М. Кирова и этим сорвать переговоры (в Чечено-Ингушетии.— Н. Б.). Султан-Хамид бросился вперед и заслонил С. М. Кирова грудью. Вражеская пуля пробила сердце Калабекова. Смертельно раненный, Султан-Хамид упал и через минуту скончался на руках Кирова».¹

Живет овеванный легендами образ отважного партизана Желебова Мусоса. О нем рассказывается, что он один явился в село, занятое белыми, как раз тогда, когда те, собрав население, требовали найти и выдать Мусоса. Он спокойно поздоровался с собравшимся людом деревни и повернулся к белым: «Меня требовали, вот я пришел». Старшина приказал ему сдать оружие, обещая партизану безопасность. Однако Мусос ответил, что пришел не оружие сдавать, а предупредить, чтобы из-за него больше не беспокоили людей. Простился с аульчанами и спокойно зашагал от аула. Но герой впоследствии был предан. Однако и в застенке он не растерялся: организовал побег товарищей из тюрьмы, но сам был ранен и схвачен врагами.

В Нальчике белые повесили прославленного партизана Хаджи-Мурада Асанова. Известны имена борцов Бетала Калмыкова, братьев Натуевых, Искандерова Ибрагима.

Борьба за социализм была упорной, длительной. В декабре 1918 года в Кабардино-Балкарии была восстановлена советская власть. Но в январе 1919 года банды Деникина заняли Пятигорск. Затем «Серебряков ворвался в Нальчик, и сейчас же на всех заборах появился приказ Шкуро: сформировать военно-полевые суды, ве-

¹ Очерки истории балкарского народа. Нальчик, Каббалк-книгоиздат, 1961, стр. 191.

шать большевиков без разговора,— для этого не нужно военной силы, а достаточно веревки. В аулах Балкарии — Баксане, Чегеме, Холаме действовали карательные отряды».

Схватка была ожесточенной. Партизаны сражались с мятежниками в аулах, в горах. И те и другие хорошо знали местность, подстерегали друг друга за каждым камнем. Рассказы о жестокостях белогвардейцев, об убийствах, расстрелах тех лет до сих пор можно услышать в каждом балкарском доме.

Советская власть в Балкарии окончательно установилась лишь в 1921 году, после разгрома контрреволюционного мятежа.

Однако террористические вылазки продолжались и в последующие годы. В 1922 году был убит бывший партизанский вожак Юсуф Настуев. Народ сложил о нем песню. В 1923 году из засады убили героя партизанских сражений Ахмата Мусукаева.

Отец К. Кулиева также участвовал в сражениях горских партизан с белоказаками Деникина. И еще в 30-е годы поэта обступают багровые отцветы тех жестоких битв и трудных побед. Несомненно, «Ибрагим», «Песня об Иссе» навеяны рассказами старших очевидцев о белом терроре и партизанских боях, воспоминаниями известных героев.

В поэме «Ибрагим» рассказывается о том, как белобандиты заняли аул и расстреляли партизана Ибрагима. В первой части описывается аул, где свирепствуют мятежники. «Горе пела Чегем-река, // Утомилось от войны сердце земли». Зимний пейзаж, вой метели и голодных волков, свинцово-тяжелый туман — все это служит воссозданию гнетущей атмосферы в ауле, захваченном врагом. Но большое народное горе передается не через художественные образы, а через перечисление внешних признаков несчастья. «Плач, стон раздается в ауле, // Проклятья, жалобы в тумане!.. // Вздохи стариков

слышны в ауле! // Человек не знал, что делать. // Плачут женщины, плачут дети». И вот по аулу пронеслась горестная весть, что схвачен кто-то из большевиков.

Во второй части рассказывается, как мать партизанского командира Ибрагима пошла утром к реке за водой и увидела на берегу окоченевший труп сына. Что может быть трагичнее! Но автор не раскрывает движения сложнейших чувств матери — оцепенение, ужас первых минут и, быть может, пришедшее в дальнейшем осознание неизбежности случившегося и т. д. Ни одного психологического штриха, только описание внешнего: «Разве мало горевало // Там материнское сердце, // Материнское сердце! // Теплая слеза текла, должно быть, // Упала, должно быть, // Смелому сыну на ледяное лицо! // Прижала, должно быть, его мать к сжигаемой горем груди!»

Затем автор возвращается к сцене расстрела. В метельную, темную ночь ведут партизана. Руки его связаны. Террористы бьют его прикладами.

О том, как героически вел себя партизан, что он чувствовал, мы лишь догадываемся. Молодому автору приходится верить только на слово: «Шел он, шел спокойно... // Когда ветер снег поднимал, // Хлопья снега ударяли ему в лицо... // Вспоминались ему боевые дни... // Шел, а смерть шла впереди... // Он не трепетал... шел...»

Сделана попытка рассказать о борце, целеустремленном, готовом на любую жертву. Но перед нами риторические восклицания: «Шел... сам себе говорил... // Хоть убивайте меня, не убьете, // Кровь мою на белый снег проливайте... // Не убьете! Не умру! // За свободу проливается горячая, чистая кровь моя, // За бедных проливается, // За угнетенных проливается, // За сирот проливается» и т. д.

О гибели старого мира и торжестве нового автор говорит величаво, эмоционально. «Восход солнца никто

не остановит, // Водопад вверх никто не повернет! // Прогнивший лес земле бесполезен, // Заходящее солнце назад не пойдет. // Приход весны никто не остановит!»

Композиция поэмы надуманна. Начинаящий поэт не вник в особенности избранного жанра. Это и не лирическая и не эпическая поэма. Сюжетные эпизоды — скорее, пересказ ситуаций, они не содержат художественного обобщения. Лирические отступления выдержаны целиком в стиле фанфарно-декламационных традиций тех лет. В этом причина и необычайной растянутости поэмы. И хотя поэт всей душой любит своих героев, говорит о них взволнованно, однако несобранность чувств приводит к риторике: «О, та минута! О, та минута! // О, если бы мне удалось // Ту минуту поймать, остановить!» Поэт дышит прерывисто, задыхается. Но полюбить героев он не может заставить, а только демонстрирует свою любовь к ним: «Ой, Исса, Исса!.. — как я его...» Здесь автор явно хотел сказать «любил». Но, желая показать силу чувств, поставил многоточие — задохнулся-де, пораженный неожиданным горем, горло сжали спазмы — это хотел выразить, но получилось: «Нет слов выразить», что совсем далеко от поэзии. «Образ его, каждая его черта... // Его голос // Забудутся разве, // Отойдут ли от взора, // О, любимый мой Исса!»

Ибрагим и Исса условные герои. Поэт поднял их на ходули, а никак не на эмоционально-образную высоту.

Не в пример лучшим стихотворениям раннего Кулиева, его поэмы не вызвали никакого резонанса. Они остались незамеченными, что явилось следствием молодости поэта и отсутствия опыта балкарской поэзии в эпических жанрах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кайсын Кулиев из тех художников, для которых правда биографии и правда творчества неразделимы. Биография Кулиева насыщена событиями, впечатлениями века; виденное и пережитое постоянно питает его поэзию. Кулиев искал не только новых изобразительных путей в поэзии. Он искал движущие силы жизни, свое назначение в ней.

«Мы все много говорим о служении родине, народу. Я хотел на деле познать эту истину», — вспоминает поэт, объясняя, почему он еще до начала войны, летом 1940 года, оставив должность преподавателя Кабардино-Балкарского учительского института, добровольцем ушел в Красную Армию, где стал служить в парашютной части. Это было уже не юношеское восторженное увлечение романтикой опасного дела, а обдуманная самопроверка на право быть хозяином жизни.

Фашистская опасность ни для кого не была секретом. Кулиев чувствовал, что предстоит испытание, был подготовлен к нему. Все же непосредственное столкновение с ликом войны потрясло его.

«В памятный, проклятый народами мира день 22 июня 1941 года в 5 часов утра я уже воевал», — рассказывает Кулиев.

Три с половиной года Отечественной войны Кулиев провел на передовой, в самом пекле. В первые дни войны он «с группой парашютистов взрывал мост через Западную Двину в Даугавпилсе, когда по мосту пошли немецкие танки». Осенью 1941 года Кулиев — участник известных исторических боев против танковой армии Гудериана на подступах к Москве. С начала 1943 года до 1944 года он был корреспондентом армейской газеты «Сын отечества».

Прибалтика, Орел, Курск, Сталинград, Донбасс, Сиваш, Перекоп до Севастополя — таков путь поэта-солдата.

«Поэзия вдвойне сильнее, когда она подкреплена делами и кровью ее создателей. Я убежден, что поэт в трудные для родной земли дни обязан находиться на переднем крае. Трусость и малодушие так же неприемлемы для поэта, как отсутствие воображения или чувства стихии родного языка», — сформулирует впоследствии К. Кулиев свое жизненное и поэтическое кредо.

В первые месяцы войны в советской поэзии возродились традиции призывной, агитационной лирики периода Октябрьской революции, гражданской войны. В лозунге «Отечество в опасности!» люди узнавали знакомые требовательные голоса, исполненные гнева. Таковы были и стихотворения балкарских поэтов: А. Будаева («На Отечественную войну вперед!»), Б. Гуртуева («Раздавить ядовитого змея!»), К. Отарова («Мы победим!»), Омара Этезова («Вам будет положен конец») и др.

В те же дни в Кабардино-Балкарии вышел коллективный сборник стихов с призывным названием «Все беритесь за оружие!». Сюда вошли стихи не только поэтов Кабардино-Балкарии, а Н. Асеева, В. Лебедева-Кумача, С. Маршака, П. Антокольского, Д. Бедного, С. Михалкова и других.

В первые дни войны Кулиев писал:

С тем жестоким, бессмысленным, что называют
войной,
Встретился я сегодня лицом к лицу.
Вокруг, обняв траву,
Молодые товарищи мои лежат.

*(«С тем, что называют войной...»,
июль 1941 г. Подстрочный перевод)*

«Сегодня» не относится ко дню написания стихотворения. Поэт имеет в виду и первый день и все последующие дни, которые он окинул одним взглядом. Война провела рубеж в жизни Кулиева. За этим рубежом — быстрый рост личности поэта, выявление его мастерства, укрупнение таланта. Если в 30-е годы темы войны, борьбы, навешанные фашистской опасностью, трактовались поэтом умозрительно, поверхностно («сокрушим», «опрокинем», «сметем» врага), то теперь реалистически взвешиваются силы врага и силы отчизны. Центр внимания с общих внешних признаков времени переносится на психологию человека.

Прежде поэт декларировал свою поэтическую программу, свою готовность делом и словом служить народу. Теперь эти идеи обрели плоть. Он в центре трагических и героических событий. И поэтический идеал находит выражение не в лозунгах, а воплощается в конкретных предметных образах.

В первый год войны было написано небольшое число стихотворений. Кулиев не торопится с изложением впечатлений — их слишком много, в них еще надо разобраться. Поэт становится собранным. Он не просто факты накапливает, а улавливает в страшном хаосе войны главное — взлет народного мужества.

И каждое его стихотворение становится ответом на отдельные стороны этого главного явления. После трех военных месяцев в октябре 1941 года поэт делает вы-

вывод: «О героизме твоём пусть никто не знает, //Пусть твоё имя никто не услышит, //Имя твоё в книгах никто не увидит, //О тебе пусть никто ни песню, ни сказку не сложит. //Героизм твой ты не для этого совершал, //На поле битвы ты не для этого погиб... //Об этом ты не думал. //Называемое народом большое слово //Заложено в каждом из таких, как ты, //Его тысяча сказок, любимейших песен — //О таких, как ты, неизвестных героях». // («Героизм твой...». Подстрочный перевод)

Подвиг одного человека и народный героизм — это частичка и целое: каждый в народе, народ в каждом. Поэт объединяет историю родины, народа с историей поэзии. Выявляет их многообразную взаимосвязь, показывает, что подвиг никогда не остаётся в забвении.

Ту же мысль о вечной памяти, о неизвестных героях вынесла из пламени войны Ольга Берггольц.

...Тот, над кем светло и неустанно
мне горевать, печалиться, жалеть,
кого прославлю славой безымянной,—
немою славой, высшей на земле,—
ты слит со всем, что больше жизни было:
мечта,
душа,
отчизна,
бытие,
и для меня везде твоя могила
и всюду воскресение твоё.

В те первые месяцы войны написано стихотворение Кулиева «Перед вступлением в бой...» (1941, октябрь). Что же видит герой Кулиева в этот момент, на чем останавливается его внимание?

«Перед вступлением в бой //Не знаешь ты своей беспощадной судьбы: //Или победителем выйдешь, //Или враг прольёт твою кровь? //Начищенное до блеска оружие //Крепко сжимаешь в шершавых руках. //Во имя

жизни миллионов //Одному если умереть надо, так что же,— вперед!»

В стихотворении нет грома орудий, хаоса боя, скрежета железа. Поэта занимает душевное состояние солдата. Герой Кулиева осознал величие своего долга. Естественное желание жить сливается с необходимостью жертв ради высокой цели. Поэтому убедителен целомудренный образ солдата, который «начищенное до блеска оружие крепко сжимает в шершавых руках». По этой же причине утрачивает обычность слово «вперед!», заключающее стихотворение. Оно вытекает естественно, звучит почти вполголоса и оттого улавливается не слухом, а сердцем.

Так Кулиев с первых дней оказался на уровне требований, предъявляемых поэзии тех лет, о которых впоследствии А. Сурков говорил: «Не надо пытаться перекричать войну. Чтобы живой человеческий голос не затерялся в хаосе войны, надо разговаривать с воюющими людьми нормальным человеческим голосом. Но голос этот будет услышан, если говорящий или пишущий стоит близко у сердца воющего человека».

Достаточно даже беглого знакомства с тем лучшим, что создано поэтами в годы войны, чтобы заметить упорное стремление их к максимальной искренности и правдивости поэтического образа, а в стиле и тональности стиха — стремление к переходу от громогласной выпренности тона к простоте и ясности поэтической строки. Именно этому своему качеству обязана советская поэзия своей невиданной популярностью у читателя в дни Великой Отечественной войны.

С точки зрения сегодняшнего дня, мысль стихотворения Кулиева «Перед вступлением в бой...» не нова. Но тогда он пришел к ней сам. Это один из его этапных выводов. Он сформулирован кратко, как дневниковая запись, но именно с него начинается то новое, что будет характерно для всей дальнейшей военной лирики поэта.

Биографы легендарного Мусы Джалиля, вскрывая источники его нестигаемости, часто цитируют письма поэта с фронта. «Я не боюсь смерти — это не простые фразы, когда мы говорим, что презираем смерть. Это действительно так. Я не допускаю мысли, что в минуту опасности стану думать со страхом о смерти. Чувство патриотизма, сознание общественного долга господствуют над чувством страха...

Но если мы не боимся смерти, это не значит, что мы не хотим жить... Совсем не так! Мы очень любим жизнь, хотим жить и поэтому презираем смерть! А если эта смерть так нужна в войне за родину, то зачем бояться, что я рано погиб. Эта гибель уже есть бессмертие. Если вот так рассуждать, смерть совсем не страшна. Но мы не только так рассуждаем, но так и чувствуем, ощущаем. Это вошло в наш характер, вошло в нашу кровь».

Каждый участник войны осознавал возможность гибели и, естественно, не мог не задуматься над ней. Джалилевское определение замечательно по своей цельности и отражает в основном размышления воюющих людей. Примечательна такая деталь, что в частном письме, говоря о своих настроениях, М. Джалиль употребляет собирательное «мы», то есть люди, с которыми он тогда общался, которых наблюдал. Этот мотив стал ведущим в поэзии Отечественной войны.

Пускай до последнего часа расплаты,
До дня торжества — недалекого дня —
И мне не дожить, как и многим ребятам,
Что были нисколько не хуже меня.

Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю,
И выбрать нельзя,—

писал А. Твардовский (1941). Примеры, как говорится, можно умножить.

Эти мысли и настроения получили своеобразное воплощение в лирике Кулиева. Показательно в этом отношении стихотворение «Сестра», система образов которого являет собой пример стилизованных особенностей всей его последующей лирики.

Война, вырвавшая поэта из родного дома, может не вернуть его назад. Бродя в тоске по сразу ставшему холодному и как будто опустевшему дому, сестра найдет недописанные стихи, оборвавшуюся песню поэта. Щемящей болью отзовется в сердце вид оставшихся без хозяина вещей. Невозможно будет примириться с тем, что брата больше нет. Горе сестры будет безутешным. И тогда пусть она вспомнит, что он не просто ушел из жизни, его смерть была необходима для защиты родины, всего, что дорого им — сестре и брату. Это придаст ей силы вынести тяжелую утрату. Когда она увидит, как по буйным рощам радостно застучали весенние дожди, пусть скажет, что ее брат за них погиб, из-за них его песня осталась неоконченной.

Когда хребты, как храбрые солдаты,
Поднимут главы в утренней тиши,
«За них погиб мой брат, и песня брата
Осталась неоконченной», — скажи.

Когда в кипучей пляске бесновато
Юнцы начнут кружиться у межи,
«За них погиб мой брат, и песня брата
Осталась неоконченной», — скажи.

(Перевод Д. Голубкова)

Стихотворение пленяет тонким ощущением *правды чувства*. Достигается это вещественностью, зримостью образов. Понятия «родина», «жизнь» приближены к читателю яркими деталями — «в рощах замечтавшихся, косматых зашелестят весенние дожди», «хребты, как храбрые солдаты, поднимут главы в утренней тиши», «в кипучей пляске бесновато юнцы начнут кружиться у межи».

Рефрен

«Мой брат за них погиб, и песня брата
Осталась неоконченной»,— скажи,—

придавая стройность стихотворению, одновременно усиливает впечатляемость этих картин, придает эмоциональную мощь выводу:

«Те, что в бою пред смертью отступали,
Те не любили жизни»,— так скажи! —

и поддерживает мужественную и грустную интонацию, передающую сложность переживаний сильного человека, которому до боли дороги живые приметы жизни и который, быть может, так безвременно навсегда расстанется с ними... Поэт не старается «перекричать войну» — голос его удивительно мягок, большая грусть его — мудра.

Стихотворение несколько растянуто. А окончание его вовсе излишне. Строфа:

Когда занает сердце от печали,
Ты слезы злой кручины удержи.
«Те, что в бою пред смертью отступали,
Те не любили жизни»,— так скажи! —

так последовательно, закономерно подготовлена всем движением мысли и отчетливо завершает ее, что наличие еще одной строфы:

«Кто не вступил в сраженье с вражьей сворой,
Не защитил отчины рубежи,
Тому не дороги родные горы,
Клинок отважных ни к чему»,— скажи! —

(Перевод Д. Голубкова)

композиционно неоправданно. Она инородна и по стилю. Если предыдущие строки останавливают внимание именно новизной, своеобразием, то здесь трафаретны

почти все образы: «с вражьей сворой», «отчизны рубежи», «клинок отважных», в результате чего создается и интонационная безликость.

Однако все это, конечно, частности, в целом же стихотворение насыщено мыслью и чувством.

Кулиев мыслит крупно и конкретно, обнаруживая зрелость убеждений и эстетического вкуса. Достаточно привести ряд примеров, где звучит тот же мотив, что и в стихотворении «Сестре», чтобы убедиться в этом:

Они не встанут... Но шуметь пшенице
И падать спелым яблокам в садах,
На свадьбах детям павших веселиться...
Жизнь! Погибая, верим в твой размах!

(«Раздумье». Перевод Д. Голубкова)

В другом стихотворении:

Нет вас...
Но вешние розы
Ваши гробы согреют,
Но виноградные лозы
На вашей крови созреют!

(«Осень». Перевод Д. Голубкова)

Или:

Не все покинувшие дом свой отчий
Увидят вновь друзей, луга в росе...
Но, глядя в степь ненастной темной ночью,
Я говорю:
— Да возвратятся все! —
И если, сына потеряв родного,
В глухой тоске заплачет мать моя,
Пусть к матерям других вернутся снова
Во фронтовых шинелях сыновья.

(«Глядя в темную степь». Перевод Д. Голубкова)

Стихотворение «Сестре» написано в 1941 году. «Раздумье», «Осень», «Глядя в темную степь» — в течение 1942—1944 годов. В продолжение всей войны его поэзии сопутствуют размышления о жертвах войны, о гуманистической миссии советского солдата. Опасность позволила поэту прочувствовать до конца единство своей собственной жизни с жизнью родины. Военная поэзия Кулиева становится поэзией величайшего благородства. В ней — ярость любви и ярость ненависти.

Если я, глаза ладонью заслоня,
Не увижу больше горные снега,
Пусть мой друг на них посмотрит за меня,
Лишь бы не глаза звериные врага.

Если мне, стаканом пенистым звеня,
Не придется пить веселое вино,
Пусть мой друг до капли выпьет за меня —
Только бы врага не тешило оно.

Как бы опасаясь, что самое искреннее, вынесенное из пламени боя, может быть запятнано неверием скептика, не умеющего ни отдавать людям, ни брать у людей, не знающего высшей радости подвига во имя народа, поэт заключает:

Это слово не созвучий пышный звон,
Не притронется ко лжи душа бойца,
Этим словом был я в битве вдохновен,
Это сердце, а в бою не лгут сердца.

(«Слово сердца». Перевод М. Петровых)

Война Советского Союза с фашистской Германией воспринималась как схватка между силами прогресса и разрушения. Уничтожение фашизма было исторической миссией Советской России, олицетворением разума и созидания.

Советские поэты каждый своим путем приходили к подобному осмыслению происходящих событий. В са-

мом начале войны, еще до страшного Моабита, М. Джалиль писал:

Окоп мой узкий, он сегодня грань
Враждебных двух миров.
Здесь мрак и свет
Сошлись, здесь человечества судьба
Решается на сотни сотен лет.

(Перевод В. Державина)

Такое чувство, что он лично мобилизован на решение судеб мира, давало тысячам активных борцов на фронтах, в фашистских застенках, осажденных городах, оккупированных землях силы вынести те лишения и бедствия, о которых можно сказать словами Ольги Берггольц:

Уже страданиям нашим не найти
Ни меры, ни названья, ни сравненья.

Кулиев воспринимает Отечественную войну как борьбу за жизнь на земле. Пред угрозой истребления жизни для мужественного человека единственно возможной стала философия жизнеутверждения, повысилась сила сопротивляемости угрозе.

Примечательно, что именно в самый трудный сорок второй год появляются у Кулиева такие исполненные веры во всемогущество жизни стихотворения, как «Жить!» (1942), «Жизнь, я твой сын!» (1942), которые говорят об интенсивной работе мысли поэта.

Стихотворение «Жить!» — эмоциональная боевая здравица могуществу бытия:

Хоть за горло горе схватило —
Горе мужеством победить!
Хоть беда наш день омрачила —
Не покорствуя в битве жить!

Слава жизни светлой, могучей!
Мрак и смерть побеждая, жить!

Собрать все силы, чтобы жить; выстоять, стиснув зубы, чтобы сражаться за жизнь,— вот в чем убеждает себя и товарища по оружию Кулиев. Уверенность его опирается на факты, убежденность свою он вынес из огня войны.

Убежденность моя созрела
Не в уютном, теплом дому,
А в полях, под бурей обстрела,
В ливне пуль, в огне и дыму.

Непреклонна и непокорна,
Как броня стальная, верна,
Из кольца врагов, как из горна,
Закаленной вышла она.

(Перевод В. Державина)

Многие стихотворения Кулиева — лирические монологи и написаны как бы «для себя», что придает им большую искренность.

Первая строфа стихотворения «Жизнь, я твой сын!».

Жизнь! С тобой в часы веселья чистого
Пил вино и пел, что было голосу,
На пирах отплясывал неистово,
Пятерней назад отбросив волосы...—

выразительный автопортрет Кулиева-юноши, Кулиева довоенных лет, с его умением отдаваться страстно, без остатка любому делу, любой эмоции. Поэтому так гармонична и убедительна вторая строфа (в композиционном и смысловом отношении): так же полно, как поэт умел впитывать тогда радости земные, отдается он делу защиты их теперь:

Но война сковала землю стужею,
Жизнь, печаль пришла к тебе нежданная,

Я, твой верный сын, беру оружие.
Боль твоя моею стала ранюю.

Стихотворение венчает строфа:

Мать моя! Вмещает сердце война
Песнь твою, и пляски, и страдания,
И любовь сыновняя удвоена
Материнской сединою раннею.

(Перевод Д. Голубкова)

Все это создает сложный комплекс чувств, где со скорбным и дорогим образом матери солдата ассоциируются образы матери-родины, матери-земли, матери-жизни.

Своеобразие кулиевского стихотворения в том, что здесь сочетаются повествовательность живописца и накаленность лирической стихии; патетические интонации, служащие созданию величественного и скорбного образа жизни, скованной стужей войны, легко сменяются разговорными, с которыми в произведение входят повседневные радости мирного времени.

Чем драматичней военная обстановка, тем значительнее и яснее мысль Кулиева, тем выразительнее словесно-изобразительные средства; чем более жгуча тоска по мирной жизни, тем грустней и теплей голос поэта — все это и создает особое обаяние лучших стихотворений Кулиева военной поры.

Каждое стихотворение выстрадано. В одной из фронтовых корреспонденций поэт писал: «...У каждого из нас есть метр земли, который мы в жестоких боях окрасили своей чистой кровью, и где-то, товарищ мой, растет молодая трава на твоей и моей крови...»

Потому наша земля нам стала еще ближе, еще роднее. Ее мучения, ее горе и печаль нам стали еще понятнее... ненависть к врагу стала еще сильнее и жгучее». Не пролейся эта чистая кровь — заглохла бы жизнь на земле, выжженной гитлеризмом.

Это Кулиев-журналист. А вот Кулиев-поэт:

На горестной земле растет трава.
Был ночью дождь. И вот трава растет.
Война. Цветы в полях и синева.
Трава впитала порох, кровь и пот.

И все кругом, куда достанет взгляд,
Цветами и травой поросло.
Цветет бугор — здесь был убит солдат,
Отдав земле последнее тепло.

Трава стала священной, потому что выросла на крови. Это еще кровоточащие, но упорно затягивающиеся раны земли. Смерть отступила. Земля, истерзанная, все же оживает, стонет от ран, но жива.

Трава покрыла черноту могил,
Простых, хранящих безымянный прах.
Земля стерпела все, хватило сил!
Трава растет над павшими в боях.

Поэт рассказывает о вечной жизни и полноте радости, вырванной у смерти. Мысли его уносятся в прошлое, летят в будущее. Однако отныне на всех его раздумьях — отпечаток войны. Прежде было безмятежное любование природой, теперь солдатская преданность жизни.

В траву влюбленный, мог все дни подряд
На ней лежать я раннею весной.
Но никогда траве я не был рад,
Как здесь, в полях, растерзанных войной.

Забудут люди годы мук и зла,
Трава другая вырастет в тепле,
Но мне дороже эта, что взошла
На окровавленной войной земле.

(«Трава». Перевод В. Сикорского)

Война и трава — казалось бы, что тут общего. Но именно благодаря неожиданности ассоциаций, обыденности об-

разов, сопоставленных с войной, стихотворение приобретает пластичность и задушевность. Оно насыщено болью и счастьем.

Здесь яркий пример того, как в поэтическом восприятии самые заурядные вещи обретают емкость, способность вмещать глубокие обобщения.

Критик В. Гоффеншефер, прошедший войну корреспондентом вместе с Кулиевым, вспоминает: в одну из очередных поездок группа армейских газетчиков, среди которых был и Кайсын Кулиев, остановилась у широкого озимого поля, на зеленой скатерти которого отчетливо выделялись свежие воронки. Привычным глазом они стали определять, какие снаряды здесь рвались. «И вдруг,— пишет В. Гоффеншефер,— я услышал рядом тихое и горестное восклицание: «Такая хорошая земля! А? Такая красивая, такая добрая, и вся изуродована! Ну, как это можно? А?!»

Горечь, вложенная в эти простые и, казалось, даже наивные слова, придала им неожиданную силу. И я не удивился тому, что человек, с первых дней войны находившийся на фронте, бывший парашютист-десантник, пришедший к нам после боевого ранения из госпиталя,— что этот человек, видевший кровь и смерть людей, вдруг испытал боль при виде изуродованного поля.

Поэт...»

Тут дело даже не в том, что изуродованы озимь, хлеба, а в том, что земля у Кулиева — живая. Она — «добрая», «красивая». Она — символ бытия. Вот почему образы земли, травы вызывают чувство уважения, приобретают широкое звучание.

Кулиев понял бессилие тех, кто сеет смерть. Враг неистовствует. Грохот войны разрывает воздух. Едкий дым заволакивает небо. Разыгрывается трагедия, льется кровь. И тут же рядом — безмятежный покой разлит в природе.

За семь верст отсюда пушки бьют,
В битве люди истекают кровью.
Здесь губами влажными жуют
Травы изомлевшие коровы.

И плывут, раздутые в боках,
Солнцем сыты, молоком богаты,
Отражая на сухих рогах
Зарево весеннего заката.

(«Коровы». Перевод В. Сикорского)

Картина, противопоставленная войне, подчеркнута обыкновенная. Поэт не задается целью рассказать о жизни прифронтового села, о его людях. Война истребляет все живое, но чуть отхлынет ее огненная волна, как природа вступает в свои права — такова мысль Кулиева.

Взгляд поэта все настойчивей ловит признаки торжества жизни над смертью. Особенно примечательно в этом отношении стихотворение из цикла «Весна на фронте» «Танки идут».

Тенисты деревья в лесу и густы,
А танки торопятся в бой.
У них на пути голубые цветы,
Вдали горизонт голубой.

Проносится рой мотыльков над водой,
Там тоже как будто война.
Любуется ими танкист молодой.
Идут наши танки. Весна.

(Перевод В. Сикорского)

Идет необычная весна. Это весна, сулящая победу. Оттого по-особому радостны ее приметы. Пускай впереди смертельные ждут бои. Но «в роще удода кричат», «вьют гнезда свои воробьи», зовут к себе «голубые цветы». Чтобы сохранить все это, «танки торопятся в бой».

Удивляет непосредственность, с какой выражена глубокая философия идеи. Но эта кажущаяся «мгновенность» реакции — результат давней подспудной работы мысли. Именно в этой внутренней подготовленности кроется первопричина благородной простоты этого произведения.

Глубина мысли в сочетании с простотой и естественностью ее художественного воплощения становятся характерными чертами поэзии Кулиева.

В стихотворении «Он любил жизнь» поэт показывает неодолимую тягу к жизни человека, постоянно находящегося рядом со смертью. Всю зиму на войне боец мечтает еще раз увидеть «зелень трав». К счастью, смерть обошла стороной, и солдат с жадностью окунулся в весеннее цветение, наслаждался им так, что, «позабыв на миг» о войне, «был всю жизнь лежать в траве готов». Но недолга его радость: среди роскошной весны, «слушая ручьев звенящий бег», он уже думает — придется ли увидеть первый снег?

Обращение к приметам природы, к рассказу об обычной смене времен года не мешает поэту выразить новое, но помогает ему воплотить чувства времени войны во всей их глубине и индивидуальности.

В минуты размышлений о смерти мир воспринимается острее. То, что прежде было обыкновенным, наполняется иным, высоким смыслом. Несмелая и вожделенная мечта бойца увидеть еще раз весну, радостно вздохнуть, посмотреть на мир широко открытыми глазами, а потом можно-де и умереть — глубоко человечно и конкретно ощутима. Воистину начинает казаться, что, действительно, умереть, упав не на холодный снег, а на траву, вроде бы и легче, — настолько чутко воспроизведено здесь тревожное душевное состояние воюющего человека.

Но переживания бойца были бы выражены не полно, если бы стихотворение на этом заканчивалось. Поэт

верен логике чувств. Он говорит, что бойцу посчастливилось дожить до весны. Но теперь он мечтает еще о другом:

— Дожить бы только до зимы!

Несмотря на всю силу отраженного в ней порыва, строка эта не была бы столь впечатляюща и богата оттенками чувств, если бы не следующая за ней «мечтательная» строка:

Увижу ли еще я первый снег!..

Подготовленная грустным тоном всего стихотворения и расположенная в конце строфы, она звучит почти шепотом, и последнее слово «снег» произносится уже шепотом, похожим на невольный, тихий вздох.

Немало говорилось и писалось о том, какую огромную популярность приобрела в годы войны лирическая поэзия, ставшая выразителем самых сокровенных чувств. Ощущение неодолимой силы жизни, которое живет, несмотря на постоянную близость смерти, неотделимость сурового воинского долга от мыслей о любви, доме, семье, мы теперь воспринимаем как само собой разумеющееся. Но тогда для людей, впервые встретившихся с войной, это было откровением. Очень интересны в этом отношении строки Кулиева:

Тот, кто говорит, что на войне
Забывают про любовь свою,
Говорит неправду. Ясно мне:
Никогда он не бывал в бою.

(«Тот, кто говорит...», 1941.
Перевод В. Звягинцевой)

Название стихотворения Кулиева «Цветы на фронте» приковывает внимание к тому, что является самым контрастным — цветы и фронт, любовь и фронт. Поэт

собирает цветы на полях, где недавно ходила смерть. Образ любимой в душе поэта настолько тесно связан с самим понятием бытия, настолько велико желание ее увидеть, что ему чудится: «быть может, в блиндаже уснула ты, и я отдам тебе цветы мои».

Крепнущую силу чувств поэт пронесет через всю войну. Перед нами человек — борющийся, страдающий, любящий. Любимая — единомышленница поэта и, находясь далеко, участвует с ним в бою, у них одна жизнь, одно дыхание, одна высшая мораль:

Сегодня мы с врагами бьемся вместе,
И убитые вместе мы упадем!

(Подстрочный перевод)

В стихотворении «Война велика...» тоска по любимой, тоска по мирной жизни, переплетаясь с печалью бескрайних просторов России, охваченных стужей войны, где «ходит беда и тоскует земля», получает широкое и глубокое звучание.

К поэту с войной пришло чувство, выраженное в словах: «жизнь есть борьба, и я в ней борец». И это не декларируется, это суть его лирики.

Творческая активность Кулиева в годы войны объясняется не только тем, что не писать он не мог, а и тем, что он как никогда остро ощутил роль поэта и поэзии: во все века лучшие поэты были защитниками света и разума, вступали в неравный бой с мракобесием. Они тревожили покой тиранов, не думая об опасности, и «плакали о всех, задавленных нуждою, о ком никто не плакал,— только мы». За это их бросали в темницы, жгли на кострах, убивали на дуэлях, всенародно казнили. Кулиев чувствует свое единство с ними, гордится ими, как братьями: он в ряду советских поэтов принял их эстафету:

Сердце поэта ныне — поле боя,
Весь мир в нем. Полные горя войны,
Мужества и радости,
Все выдержавшие среди земли — мы.

(Подстрочный перевод)

Именно убежденность в важности, нужности своего дела питала вдохновение советских поэтов в это жестокое время. Кто может сомневаться в этом, например, прочтя такие строки Кайсына Кулиева:

Сегодня стих мой — раненый боец.
Вот пошатнулся он, за штык схватясь,
Вот падает он, кровью исходя,
И поднимается, от боли зубы сжав.

*(«Сегодня стих мой...»
Перевод М. Петровых)*

Предельная точность при масштабности поэтического образа, возможная только при пристальном и правдивом взгляде на жизнь, активно гуманистическом отношении к ней. Таково, к примеру, и стихотворение «Над моею головою каждую ночь...», где выведен образ раненой птицы, в которую обернулось горе мира и которая каждую ночь летает над головою поэта. Таковы и многие другие лучшие стихотворения Кулиева.

Отечественная война была одной из самых кровопролитных. Кулиев безошибочно понял и раскрыл драматизм этой схватки. Он с глубокой скорбью повествует о погибших товарищах, «тела которых вместо матери ветер обнимает», заносит снег, которым они в детстве играли («Война, сея смерть...»), рассказывает о том, что на войне «земля и камень горели» («Сталинградцы»).

Останавливает на себе внимание та настойчивость, с какой Кулиев обращается к мотиву «трудной победы». Он преклоняется перед мужеством, силой души солда-



Қ. Кулиев. 1935 г.



К. Кулиев — студент ГИТИСа. Москва, 1935 г.



К. Кулиев. Госпиталь. 1944 г.



К. Кулиев среди родственников. 1947 г.

та. Поэт — сам солдат — протестует против облегчения темы народной войны.

«С детских лет много о войне // Читал в книгах. // Обманывают некоторые книги: // Война много труднее, чем в них сказано», — так начинается стихотворение «Война».

По степени художественного выполнения это, скорее, как нередко встречается в те годы у Кулиева, первоначальная формулировка своих наблюдений, из которых впоследствии возникают стихи. «Война» написана в 1942 году. А еще через один огненный год в «Балладе о погибшем друге» (в оригинале — «Погибший в бою мой друг») он обвиняет тех поэтов, которые уже на этой войне, где он сам был очевидцем и видел ее ужасающий лик, писали ура-победные вирши.

Образ погибшего друга не уходит из памяти поэта, является к нему в сновидения так, как утомленный путник является в гостеприимный дом горца, и свободно, без натяжки входит в стихотворения поэта. Их пронизывают горькие факты, насыщенные подлинным волнением. Поэт рисует выразительный портрет погибшего друга, «печальные глаза» смотрят на него «с нескрываемым упреком». В том бою они «лежали рядом во ржи густой и мокрой от дождя» и не знали, что через какое-то мгновение вдруг не станет одного из них. Бессильный помочь другу, поэт горестно кутал его в шинель, ту же стягивал бинты.

Повествование ведется от лица самого умершего, что усиливает трагизм изображаемого. Погибший друг ждет, когда поэт скажет ему: «Воскресни!» — и жизнь бойца «затеплится опять и вспыхнет на ветру строкою песни».

Стихотворение — «последнее жильё» ушедшего из жизни бойца, поэт — его поверенный, и солдат хочет, чтобы в поэтической строке запечатлелась его отвага, «слова суровой правды и печали».

Не обнимай меня,
я только сон.
Какое счастье, если бы я выжил!..
Ты знаешь,
как ужасно умирать...

Облегченное изображение войны лишает подвиг смысла. Те, «что о войне легко и пышно пишут», идут против правды жизни: «О, они ложногероическими словами // Умерших на войне // Вторично убивают. // Тяжело умирать от руки поэта!»

Казалось бы, мысль закончена. Но нет. Есть еще такая строфа:

Нет! подвиги рождаются в крови,
Бледнеют губы от смертельной муки..
Я все сказал.
Не забывай о друге
Да и в стихах душою не криви!

(Перевод Е. Елисеева)

Кулиеву, по-видимому, не раз приходилось читать «стихи», подобные тем, что вызвали горькую иронию и гнев другого поэта:

Читал я где-то у поэта,
Что все солдату нипочем:
Поет он чуть ли не с рассвета,
И песня реет за плечом.

Шагает, устали не зная,
Легко, как будто заводной..
Все это выдумка сплошная,
Словесный сор очередной.¹

Ошибочный взгляд на изображение темы войны оказал большое влияние и на поэтическую судьбу Кулиева. Напомним следующий факт.

¹ Анатолий Рыбочкин. В кн. «Поэзия в бою.» Воениздат, М., 1959, стр. 552—553.

В 1942 году в Москве готовилось издание сборника его стихов на русском языке. В характеристике К. Кулиева, выданной поэту Правлением Союза писателей СССР 19 декабря 1942 года, в частности, говорилось: «Во время пребывания Кайсына Кулиева в Москве Всесоюзным Радиокомитетом при СНК СССР было организовано несколько радиопередач из его произведений.

В настоящее время Воениздат и Госполитиздат готовят к изданию сборник его произведений об Отечественной войне».

Сохранилась рукопись обстоятельной, хорошей статьи о К. Кулиеве Сергея Иванова, предназначавшаяся, вероятно, для периодики, датированная 1942 годом (25 декабря).

Было написано также предисловие к сборнику. Оно датировано 13 августа 1943 года. Предисловие не совсем бесспорно, но оно содержит доказательную высокую оценку поэзии Кулиева.

Причиной невыхода книги Кулиева никак не могла быть идейно-художественная неполноценность. «...Сейчас я стал переводить твои новые стихи,— пишет в одном из писем поэту Д. Кедрин,— «Глядя в темную степь», «Цветы», «Песня о голубых глазах». Говорю без комплиментов: среди них есть маленькие шедевры. Я люблю твои стихи за полноту мысли и чувства, что, увы, не часто в нашей поэзии. Я понимаю, что тебя побудило написать то или другое стихотворение; восприятие мира у нас, вероятно, сходное — и потому некоторые из переводов твоих стихов вышли у меня удачно».

Письмо Кедрина помечено: 9/III—44 г.

Другой документ — рецензия на книгу К. Кулиева для издательства «Советский писатель» Петра Скосырева от 22 февраля 1945 года:

«Заинтересованные в популяризации хорошего поэта,— пишет критик,— мы год назад предложили прези-

диуму ССП обсудить стихи Кулиева, выдвигая его кандидатом на Сталинскую премию. На заседании президиума стихи получили общее одобрение, но президиум счел неудобным выдвигать на соискание премии стихи, которые не только не собраны в отдельную книжку, но даже в газетах и журналах печатались в весьма небольшом количестве.

Я считаю необходимым написать об этом потому, что вопрос об издании сборника Кулиева имеет уже свою довольно длительную историю. Ныне она возникает снова». Сообщив о возможном представлении на премию, критик ратует за «мужественные, певучие, ясные стихи Кайсына Кулиева, в которых не было и тени риторики и декларативности, столь частых в стихах первого периода войны», и предлагает не включать в сборник тронутые риторикой «Легенду» («она мало оригинальна и напоминает десятки подобных стихотворений, уже много раз появлявшихся в печати»), «Салют» (тоже подобное десяткам других напечатанных «Салютов»), «Матерям» (на том же основании)...»

Скосырев здесь, думается, прав.

Какова бы ни была временная судьба поэзии Кулиева, она, в конечном счете, не могла остаться незамеченной, как все подлинное в искусстве. Военные стихи Кулиева представляют самостоятельный интерес и вне приуроченности их непосредственно к военному времени. Они свидетельствуют о таланте. В них прекрасно прослеживается процесс рождения художественного образа. Специфический процесс, в результате которого отбирается главное, концентрируется в фокусе мысленного зрения поэта, вырастает в масштабный образ, который вызывает в воображении читателя ясные и вместе с тем многогранные ассоциативные представления. Так, стихотворение «Сосны России шумят» — одно из наиболее характерных для творческого мышления Кулиева.

Осень. От дождя размякла
Пыль дорог. Дороги грустят.
Октябрь стоит, как припев к
Горской песне.
Как горестная мать,
Сосны России шумят.

Мы уходим на фронт.
Сосны России смотрят
Нам вслед, как сестры наши
В тревоге за нас.
Так остаются они.
Сосны России шумят.

Так стоят сосны, будто
Они будут слагать песню о нас,
Шепча во многие ночи меж собой,
Сосны России шумят.

(Подстрочный перевод)

Перед нами широкая, зримая панорама фронтовых дорог России и целый мир соперечиваний человека и Родины. Поэта поразило, задержало его внутренний взгляд вид медленно проплывающих мимо сосен. У Кулиева, всегда чуткого к природе, самое небольшое, но яркое проявление, деталь, вспышка ее красоты всегда связана с ощущением родной земли, национальной почвы, выражением какой-то черты национального характера. Так возник образ «сосны России». Это заряд поэтической мысли. Мерный тревожный шум под осенним ветром не вообще сосен, а сосен России поэт воспринял как «хмурую» — прощальную, напутственную песню уходящим на фронт бойцам. В их глухом шуме поэту слышится тревога страны. Потом только вступили в орбиту активного творческого зрения поэта другие компоненты второго плана: дождь, осень, тяжелые тучи, липкая грязь размытых дорог, создающие нужную для раскрытия основной мысли тональность, подчеркивают силу заботливой тревоги. В этом случае

они уже не выступают простыми перечислениями общеизвестных вещей о трудности боевых дорог. Не выступают и тем «пейзажем», о котором обычно говорят, что он «соответствует душевному состоянию героя» или же, наоборот, «контрастирует с настроением героя». Душевное состояние героя, конечно, не радостное. Но в то же время оно не имеет ничего общего с унынием дождливого осеннего пейзажа. У Кулиева не уныние, а тревога. Причем тревога не самого героя, а тревога о нем. А герою грустно. Так шумящие «сосны России» вырастают в символ опечаленной судьбами своих защитников Родины. Главный образ ведет музыку всего стихотворения, то замирая и давая возможность подчеркнуть многоголосие настроений, то вступая вновь, организуя их вокруг себя и выделяя основной мотив. Ритм стиха, управляемый этим же образом, сливается с ровным, мерным шагом колонн солдат в походе.

Не названы слова «человечность», «мужество», «патриотизм». Но и родилось то самое стихотворение от любви к России, ко всему светлому, человеческому, что связано у поэта с этим именем. Вместе с тем все стихотворение пронизано мужеством. Эту особенность поэзии Кулиева невозможно проиллюстрировать одним или несколькими стихотворениями: мужество и человечность — нервы ее живой ткани.

* * *

Осенью 1942 года враг подступил к Кавказу. К этому периоду относится цикл стихов Кулиева непосредственно о Балкарии, о Кавказе. То ему видится мальчик-горец, который скачет на ослике из сожженного аула, сам не зная куда, и поэт с горечью пишет: «Его дорога пролегла по моему сердцу» («Мальчик-горец», 1942). То

возникает лирический образ Кавказа, овеянный теплыми воспоминаниями:

В тепле твоих пещер я ночевал, Кавказ,
На гладкий камень голову склоня;
За трубкой у костра я слушал горский сказ...—

и автор делает спокойный, уверенный вывод:

И если скажут мне: «Живи без гор, Кайсын,
Тебе построят золотой дворец»,
Я рассмеюсь в душе: «К чему мне царский двор?
Что золото погонщику овец?»

(«Самое дорогое». Перевод Л. Шифферса)

Все советские поэты в той или иной степени касались этой темы. Владимир Сосюра писал:

Летит мое сердце туда, где Курганы,
Где счастье вставало со мной,
Где древний Славута, седой и туманный,
Бьет в берег кровавой волной.

(«Гнев». Перевод Я. Городского)

У К. Симонова боец носит в своем сердце:

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Подчеркнуто скромный русский пейзаж, пожалуй, потому так трогателен, что неброские краски его — лучшее свидетельство незаменности родного.

Для поэта-балкарца Кулиева «приметы всей земли» — в тепле пещер Кавказа, в камне, на который можно и голову склонить, словно он и не жесток, в пастушеских кострах, мерном, величавом горском сказе.

Высокий поэтический идеал Кулиева настраивается на волну, очень близкую сердцу читателя. Возвышенная гордость за родную Балкарию —

О родина былин — земля моя!
Народ твой — исполин, земля моя,—

раскрывается в реальных, зримых образах:

Как жить мне без тебя, седой Казбек,
Без узких горных троп страны родной,
Родные пляски, как прожить без вас?
Друзья мои! Кому служив без вас
И голову за что сложить без вас?

(«Земля моя», 1942. Перевод Д. Кедрина)

Система образов Кулиева исходит из особенностей национального мировосприятия, фольклорных поэтических традиций. Безгранична любовь поэта к родине: «Отчизны каждый придорожный камень, // Кажется мне, плачет, как девушка», // Каждая скала, как потерявшая сына мать... // Как будто камни имя мое называют, // Голос слышится мне издалека, // — О, где ты? «Приди!» — как будто кричат они, голос слышится с гор...» («В госпитале». Подстрочный перевод)

Поэт говорит об ответной любви родины к человеку:

А камни серые, как братья, нам,
А ночи темные верней сестер,
Мы припадаем к скалам-матерям...

(«Песня горцев-партизан»)

Он напоминает о многочисленных нашествиях на его родную землю, о том, что родина всегда оставалась непокоренной, а о враге говорило лишь оружие, ржавевшее на каменистых тропах Балкарии. Примирение с врагом невозможно, иначе отцы, «Умершие за эту

землю, // В тесных могилах тяжело застонав, // Пошлют нам проклятье». («Услышьте, горцы!». Подстрочный перевод)

Древняя история народа становится близкой; по-новому понимается поэт и народная поэзия, вобравшая эту историю.

В тишине пещер, на ветру дорог
Сколько песен я пел простых!..
Силу горьких слов, что в душе сберег,
Только в дни войны я постиг.

(«Песня». Перевод Л. Шифферса)

Обращение к национальному прошлому, к национальной психологии, традициям этики, нравственности, к боевой славе национального оружия вошло в советскую литературу военных лет как важный элемент утверждения народного самосознания. Горец никогда не был рабом. Победит он и теперь, говорит поэт своими балкарскими стихами¹.

Примечательно, как перекликаются мысли Кулиева и знатока Кавказа и горцев Николая Тихонова. В сентябре тяжелого сорок второго года он писал: «В братской семье советских народов мы все едины и в дни радости и в грозные дни смертельной опасности. Немец рвется к Ладоге и к Волге, за Терек и к Черному морю. Кровью обливается сердце ленинградского рабочего, кубанского казака и горца. Наша битва едина, наша боевая дружба едина, да будет едина наша месть!..»

В этот суровый час встает былая слава гордого, непокорного Кавказа, встают воспоминания, проносятся тени героев, заново звучат слова вождей, будто на вер-

¹ Термин «балкарские стихи» употребляется нами условно для обозначения стихотворений поэта, посвященных непосредственно Балкарии.

шинах трепещет не пурпур восхода, а красные знамена незабвенных лет борьбы за свободу. Знамена твоей славы, Кавказ, снова созывают племена на бой со смертельным врагом. Снова горят костры в пещерах. В поход седлают своих коней и проверяют оружие для схватки... Никогда Кавказ не будет поработен, никогда не примирится горец с деревянной биркой на шее, вспомните слова старой песни: «Сегодня будет такой жаркий день, что только на одну тень от наших шашек мы можем надеяться». Это день битвы за свободу, день гибели ненавистных врагов!

Балкарцы и кабардинцы, вы, построившие чудесную страну счастья и радости, куда люди приезжали изумляться вашей природе и вашему трудолюбию, вы, которые умели идти в атаку, презирая смерть, взяв батарею, затыкали пушки врага своими шапками, вы, вpleтавшие в гривы своих коней гирлянды погон с белого офицера, вспомните свои героические дела и повторите их. Не пустите врага в глубину своих наследственных долин Баксана, Чегема, Череха».

Война не только не разъединила советские народы, как рассчитывали гитлеровцы, напротив, общее горе еще больше объединило их. Из далекого Казахстана от великого старца Джамбула в осажденный Ленинград пришло сердечное слово, от которого теплела блокадная стужа. В самый разгар боев за Кавказ 12 сентября 1942 года в «Красной звезде» появилась другая статья Н. Тихонова «Слава Кавказа». А уже 19 сентября Н. Тихонову был отправлен с передовой бойцом П. В. Джапаридзе такой отклик:

«Дорогой товарищ Тихонов!

Сегодня прочел Вашу статью «Слава Кавказа» в «Красной звезде». Пишу Вам потому, что написана эта статья с настоящим чувством человека, для которого в Кавказе много близкого и родного... Вы посещали родные наши горы. Вы видели могущество наших скал и ущелий. Вы

вдыхали чистый наш воздух. Вы пили холодную родниковую воду, Вы были обласканы нашим солнцем.

Этого забыть нельзя. Ваша статья тронула меня и чистотой призыва к моему народу. Еще до появления Вашей статьи я послал в «Красную звезду» статью «Кавказ»; и вот, читая сегодня Вашу сильную, горячую статью, я был обрадован тем, что мои мысли и чувства не одни, что далекий товарищ пишет, страдает так же, как и я. Это дает силы... Я не могу подумать, что враг ступит своими сапожищами в мой родной город Махачкалу... Делюсь с Вами, как с близким родным: тяжело вдали от родины переживать ее муки. ...Любите Кавказ чистой русской душою, как я люблю горячо русскую землю, русский народ».

Опасность, нависшая непосредственно над Кавказом, над Балкарией, обострила у К. Кулиева национальное чувство и вместе с тем сделала его поэзию близкой и понятной каждому народу.

Оккупированную Балкарию Кулиев не видел. Но стихотворение его «Дедовский дом» написано так, будто над пеплом сожженного дома стоял сам поэт.

Валя в лесу дубовые стволы,
Дед на скале построил крепкий дом.
Теперь лишь гряда пепла да гора золы
На этом месте! Дом сожжен врагом,
.

И все же кое-что осталось: ты нашел
Котел, который под золой лежал.
Он закипит еще, родной котел,
На новом очаге... А вот кинжал

Торчит в земле. Ты вытащил его
Из обгоревших кожаных ножен.
Он почернел от дыма. Ничего!
Для мщенья еще годится он!

(Перевод Д. Кедрина)

Гневный рассказ о сожженных домах, городах, селах — характерен для печати военных лет. Не могли пройти мимо него и балкарские поэты.

Многие из них — Азрет Будаев, Рамазан Геляев, Салих Хочиев, Берг Гуртуев, Керим Отаров, Ибрагим Маммоев, Сафар Макитов — в первые же месяцы войны ушли на фронт и в стихах своих рассказывали о храбрости боевых товарищей, о солдатских суровых буднях, о патриотическом подъеме советских людей в борьбе с оккупантами, о злодеяниях завоевателей.

Керим Отаров в стихотворении «В разоренной деревне» раскрывает ту же тему ненависти и мести, что и К. Кулиев в стихотворении «Дедовский дом».

В бою взяли село на рассвете,
Не сдержал нас и шквал боевой.
С бою взяли село —
И никто нас не встретил,
Ни души не отыщешь живой.

— — — — —
Все вокруг запорошено пеплом,
Только голые печи видны.
До чего же они нелепы,
Эти памятники войны!

*(Перевод С. Виленского
и Я. Серпина)*

У Кулиева мы видим другое. Он замечает не только сожженный дом, печи вместо изб и обгоревшие сосны, но и выделяет чувства горца, вызванные этими картинами. А образ испепеленного дома у него становится символом поруганной земли дедов. Горец строил дом надолго. Каждый предмет в нем хранит память дорогих людей.

Поэт уверен, что на его родине люди возродят жизнь и из пепла: «Он закипит еще, родной котел на новом очаге...» Автор недаром выделяет образы котла и кинжала — мирного и воинственного, на символах жизни и войны утверждая непреклонную волю к борьбе за мир.

Разжечь, довести до высшего накала ненависть к врагу было одной из главных задач советской поэзии тех лет. Стихотворение «Дедовский дом» представляет характерный для лирики Кулиева пример сочетания гуманизма и «науки ненависти».

Не все балкарские стихи Кулиева написаны на таком уровне. Есть среди них, как, впрочем, во всей его военной лирике вообще, и более камерные и менее эмоциональные, то есть попросту художественно слабые стихотворения, хотя и порожденные вполне естественными человеческими чувствами, как благодарность родным за душевную чистоту, как воспоминания о местах, где прошло детство («Твои письма», «Мы из атаки вышли...»), как выражение преданности горца Балкарии («Клятва», «Если стих мой до места не дойдет...»). Но не они определяют лицо балкарских стихов Кулиева, идейно-художественная сущность которых наглядно выразилась в его взволнованной исповеди:

Как старый горец любит свой Казбек,
Так я люблю все земли и края.
Но, к родине привязанный на век,
Всегда гордился тем, что горец я!

Мне довелось из Волги пить не раз,
Ее красой душа была горда.
Но свой любимый, свой родной Кавказ
Носил в душе повсюду и всегда.

*(«Всегда гордился тем, что горец я!».
Перевод Д. Кедрина)*

Здесь отражены широта взглядов советского национального писателя и своеобразие личного художнического почерка Кулиева с его конкретностью и одновременно масштабностью и многообразием чувств, переживаний.

Межнациональная дружба, бывшая для поэта преж-

де несколько умозрительным, социальным понятием, теперь стала конкретно осязаемой. Война вплотную столкнула его с представителями разных народов. Чуваш, искренне дружа с поэтом, делит с ним солдатский табак. Неподдельную симпатию вызывали у него «русые латыши», и эта симпатия скреплена кровью,— поэт был ранен на латышской земле, оставил на ней «крови след», в ней похоронен его друг. В окопах под Орлом он бился за русскую землю. Но гордость за Кавказ, за то, что он «вольный горец», всегда оставалась его путеводителем: потому душа его так широко открыта для других, что сам он, страстно привязанный к своей родине, так же глубоко понимает, как дорога другим народам их земля.

* * *

Последние месяцы пребывания поэта на фронте отмечены двумя циклами — «На Сиваше» и «Перекоп».

Кулиеву довелось быть на самых трудных участках фронта, где особенно ярко проявились драматизм войны, героизм советских солдат. Одним из таких участков был Сиваш. «Солдатам еще не случалось видеть таких атак», — пишет поэт о вошедших в историю жестоких боях на Сиваше.

В цикле «На Сиваше» с новой силой раскрыта тема ясности и твердости морально-этических устремлений советских людей. Поэт говорит об этом со свойственной ему конкретизацией большой мысли в реальных детализированных образах:

Живи! Побеждай!

Чтоб дома опять расцвели вишни,

Чтоб в душу твою и сердце ворваться враги не смогли.

Широта миропонимания сочетается у Кулиева с глубиной психологического проникновения. Вот логика

мыслей, чувствований бойца, который в течение полугода каждый день проводил под огнем и дожидался победы:

О, эти пять месяцев жизни:
слепых пулеметов биенье,
Когда над травой поблекшей нельзя поднять
головы,
С радостью писем из дома,
с жестокой надеждой на мщенье,
С победным 10 апреля и ярким салютом Москвы!

Угроза смерти и вера в жизнь, маленький треугольник из дома и победный салют Москвы — все это создает органическое целое, то, чем жил, в чем черпал силы боец.

Здесь не только умение быть собранным, бесстрашным во время опасности, но и закалка характера на всю жизнь.

О, эти пять месяцев жизни:
О них никогда не забудет солдатская память моя!
Если боль неудач наложится в душе,
Не скажу громкозвучно: «Не надо сдаваться!» —
Просто вспомню саперов на Сиваше.

Перед этой отвагой преклоняется сама природа. Автор как бы настраивается на одну волну с природой:

Если б ветер морской поэтом был,
О бессмертье, данном бойцам,
Он бы сам поэму эту сложил,
Сложил бы поэму сам.

Как восточный певец распевает стих
О любимой, чей образ светел,—
Рассказал бы повсюду ветер о них,
Рассказал бы о них ветер.

(«Саперы». Перевод Ю. Полухина)

Лирический монолог, обрамляющий стихотворение эпического плана, в начале произведения как бы подготавливает читателя к восприятию грандиозности событий и духа людей, участников событий, а в конце стихотворения он произносится уже читателем вместе с автором.

Следует заметить, что слова «эту» в оригинале нет, что существенно влияет на истолкование произведения. По переводу получается, будто бы автор, говоря о поэме, которую сложил бы о героях морской ветер, имеет в виду свое произведение. В оригинале такой мысли нет. Концепция поэта несравненно шире, чем в переводе. Он говорит о том высшем бессмертии, которое хранит каждая пядь земли, которым насыщен сам воздух и чему трудно воздвигнуть памятник средствами, имеющимися у человека. Произведение же Кулиева ни в коей мере не претендует на монументальность, какую заслуживают герои Сиваша.

Для поэтов старшего поколения Отечественная война была продолжением ненадолго затихавших революционных боев. Многие из них, едва успев стряхнуть дорожную пыль с походных шинелей, снова отправлялись в трудный путь. Вот типичная биография поэта и биография страны, вступившей в единоборство с мировой реакцией в октябре 1917 года.

«Меня демобилизовали весной 1918 года,— пишет Н. С. Тихонов.— Осенью этого же года вступил добровольцем в Красную Армию, принимал участие в разгроме Юденича под Петроградом. Кончилась гражданская война. Я снял шинель и твердо решил заняться литературной деятельностью...

30 ноября 1939 года, отвечая на вызов финских реакционеров, войска советской армии перешли финскую границу. Я прошел путь с армией до... Выборга.

Не прошло и года, как я вернулся из армии к своей писательской деятельности,— снова начали сгущаться



К. Кулиев с сыновьями. 1965 г.



К. Кулиев, 1972 г.

К. Кулиев с земляками, 1970 г.





А. Кулешов и К. Кулиев в гостях у М. В. Исаковского



*И. Дедушкин, И. Тарба, К. Кулиев, В. Катаев
на V съезде писателей СССР*

такие тучи, что трудно стало дышать... Снова пришлось надеть шинель».

Видно, уж нам дорога такая —
Жить на земле от войны к войне,—

писал с горечью А. Сурков.

Отгремевшие на заре советской власти события стали отчетливее просматриваться с боевых позиций Великой Отечественной войны. Многие поэты обратились к теме Октябрьской революции и гражданской войны.

У Кулиева нет стихов, посвященных специально этой теме. Для его революционного миропонимания характерно непосредственное соотнесение истории и современности. «Нас вела убежденность,— вспоминает поэт,— в душе жили отзвуки революции. Мы верили и помнили всегда, что воюем за дело революции, Ленина, против фашизма».

Обычно склонный к подтексту, Кулиев свои выводы об исторической преемственности поколений, вынесших гражданскую и Отечественную войны, высказывает намеренно прямо и громко, очерчивает их четко и принципиально:

По следам героев гражданской войны
Идем мы сегодня здесь.
Дороги нам рассказывают о них
Легенды войны.

Он вспоминает героев гражданской войны не просто ради прославления их, а для выявления идеи ответственности перед отцами, ответственности перед тысячами отданных за эту землю жизней. Задача почетная и трудная.

Сейчас мы идем, повторяя, умножая
Мужество тех, давно прошедших лет.

Как они, сегодня и мы глотаем

Сухую пыль турецкого вала,
бросаясь в бой.
Мы тоже, как они, падая от пуль,
Падаем, оружие из рук не выпуская.

(Подстрочный перевод)

Поэт спокоен и горд за свое поколение: они достойные сыны достойных отцов. Только Страна Советов, которую отстояли вчерашние герои, могла взрастить героев сегодняшнего дня.

Осмысление Отечественной войны как всемирно-освободительной приводит Кулиева к широким историческим ассоциациям и глубоким философским обобщениям. Для него история войн на земле — это наука добывать свободу и жестокий урок тиранам и мракобесам в с е х в р е м е н и э п о х. Ни один народ не заинтересован в захватнической войне; солдаты всегда одинаково тяжело страдают от пламени войны, от зноя и морозов, тоскуют по родине, по мирному труду. Картины взятия Турецкого вала уводят поэта в глубину веков. Полны горячего сочувствия, земного участия к простым людям всех земель раздумья Кулиева:

Их смуглые тела солнце обжигало,
Но, верно, терпеливо рыли солдаты этот вал,
В восточном краю неба видя
вечернюю звезду,
Наверно, молились они ей.

Они, верно, тосковали по девушкам,
косы которых
Снились им ночами тяжких дней,
Глядя на журавлей, улетающих
осенью туда,
С ними, верно, посылали матерям
свои поклоны.

Турецкий вал, возведенный столетия назад завоевателями, вновь стал причиной неисчислимых жертв. Но

повинен в этом не турецкий народ. Он — жертва произвола.

Много дождей омывают Турецкий вал,
Много ветров свистело над ним.
А он стоит, как сухой шрам от сабельной раны,
И сегодня на него льется солдатская кровь.

А те солдаты, что рыли этот вал,
Давно стали желтой глиной,
Стали травой и бурьяном давно,
И оружие их глиной стало.

Кровь солдат турецких и чужих не принесла паше славы, потому что он шел против народа.

И тот, кто их гнал сюда из Стамбула,
Султан ли он, паша ли,— все равно
Его тоже время сделало прахом,
пустило по ветру,
Глиной стала и кровь, которую он проливал.

Все, кто потрясал мечом, всегда кончали бесславно; человечество предавало их забвению, а если вспоминало, то с проклятием. У Кулиева образ Турецкого вала выступает как памятник навязанному народам бессмысленному кровопролитию. Современного бесноватого фюрера ждет участь его далеких предшественников. Для Кулиева свобода — суть человеческой организации; в ней смысл всего существования.

А свобода бурьяном и глиной
не становится,
Нет на земле ей ни старости, ни смерти.
И сегодня герой, сам погибая, ее спасает,
Он дает свет нашей жизни.

(Подстрочный перевод)

Циклам «На Сиваше» и «Перекоп» автор предположил эпиграфы из стихов Н. Тихонова. В «Перекопе» и «Балладе о гвоздях», в стихах Н. Тихонова и Кулиева нет текстуального внешнего сходства, близости ритмической, интонационной.

Кулиев проводит наглядные исторические параллели. Там, где в годы гражданской войны шел со своими молодыми современниками Н. Тихонов, идет теперь К. Кулиев со своим поколением. Не маршруты преемственны, а характеры советских людей, революционные традиции. Для мировосприятия Кулиева характерен пафос слов Тихонова: «...но мертвые, прежде чем упасть, делают шаг вперед». Именно такими выросли современники Кулиева, такие характеры развернулись перед ним в самых опасных, тяжелых ситуациях.

Близость Кулиева к Тихонову не ограничивается этими произведениями. Говоря о литературных параллелях, обычно ищут и отмечают внешнее сходство, ритмические, метрические влияния.

Обращение к Тихонову играло для Кулиева роль литературной учебы, а также имело то жизненное практическое значение, ради которого и существует литература. Самоотверженные герои Н. Тихонова преподают ему науку мужества в огне войны и помогают в новых исторических условиях отбирать и создавать своих героев.

Здесь я слышу балладу Тихонова,
Братство стихов сегодня идет в бой.
Подковы лошадей тех лет покрыла ржавчина,
Лишь подвигу и поэзии
ржавчины нет.

(Подстрочный перевод)

Среди написанного в эти годы Кулиевым есть вещи, которые ярко раскрывают, как бы обнажают в человеке поэта, дают постигнуть в Кулиеве естественный дар или умение художнического видения. Это фронтовые корреспонденции поэта. Одна из них — «Русские дороги».

Начну с цитаты.

«Русские дороги... Они тянутся, уходят вдаль... Они безмолвны, как старец, который видел много, был свидетелем многому и молча думает...

Русские дороги... По ним мчались, Россия, твои бешеные тройки, по ним приходила к тебе черная беда, по ним же уходила она от тебя.

По ним гнали своих ретивых коней жадные завоеватели, и на этих же дорогах лежали, оскалив свои желтые зубы, кони побежденных твоими сынами полководцев.

Русские дороги... Они хранят, Россия, твое горе и радость, как седой поэт хранит легенды родной земли. Они хранят поступь бежавшего по ним иноземца-солдата, ржавчину брошенного иноземцем оружия. Они впитали, Россия, священную кровь твоих храбрых воинов, они впитали и черную кровь иноземцев-завоевателей.

Тянутся снежные дороги России. По ним, как и в былом, пришли иноземцы-враги. Они принесли горе. Они сеяли смерть. Они заливали твои молчаливые дороги кровью твоих сынов, Россия. Теперь враги бегут по этим дорогам обратно, усеивая их своими трупами. На снегу валяются брошенные каски со знаками свастики, разбитые, исковерканные машины врага. По-старому валяется ржавое, брошенное врагом в бегстве оружие. Это черные следы врага на белом снегу русских дорог...

Немцы шли по дорогам твоим, Россия, выпятив грудь, уверенные, что они их приведут к победе. Но твои снежные дороги, как и в былом, ведут врагов к гибели...

Русские дороги...

Они выдержали поступь всех врагов в веках. Выдержат и поступь гитлеровских орд. Они молча хранили седые легенды о гибели многих хищников в веках, сохраняют легенду и о гибели орд Адольфа Гитлера».

Первоначальная картина, от которой отталкивается мысль поэта, такова: «...на снегу валяются брошенные каски со знаками свастики, разбитые, исковерканные машины врага». Вид, обычный для военного времени, даже примелькавшийся: сколько писалось и говорилось о касках, о танках, разбитых самолетах с ненавистной свастикой.

Но эта обыденная картина у Кулиева вырастает в поэтическую мысль. Он шел с армией на запад. Фашистская орда отступала. Всюду снежные дороги, на них исковерканное оружие насилия. Возникает образ, построенный на контрасте. «Это черные следы врага на белом снегу широких русских дорог...»

Образ вызывает исторические ассоциации: прежние нашествия на Россию, ее тяжелые дни и ее блестящие победы. Зреет основная мысль: победа России над фашизмом неизбежна, исторически обусловлена.

По построению, по ритму, музыке, по мягкости, лирической раздумчивости статья восходит к стихотворению в прозе. Однако поэт не ставил целью написать произведение в этом жанре. Он писал очередную корреспонденцию в газету. Налицо журналистская лексика, как бы утвержденная в те годы («на снегу валяются брошенные каски со знаками свастики, разбитые, исковерканные машины врага... Теперь враги бегут по этим дорогам обратно, усеивая их своими трупами...») И особенно заключительное выражение: «...о гибели орд Адольфа Гитлера»). Но она перемежается с присутствующими одному Кулиеву стилевыми особенностями, идущими от богатства ассоциаций, яркости деталей, глубины мысли.

По манере письма эта статья единственная в своем роде. Другие корреспонденции Кулиева написаны иначе, документальнее.

Однако элементы художественности в стиле, наличие героев, думается, дали основание Д. Бычкову определить «Девушку в шинели», «Песню», «Большой подвиг», «Труп убийцы», «Баян», «Перед боем» и другие как рассказы и очерки.

Одна из таких корреспонденций действительно имеет подзаголовок, данный самим Кулиевым: «Рассказ». По это все же не рассказ в том смысле, как он обычно понимается этот специфический жанр художественной прозы.

Поэт увидел на кисете снайпера вышитые слова «Будь храбрым!» и узнал, что кисет — подарок жены. Она хочет, чтобы ее подарок всюду напоминал другу о ней.

Однажды, «охотясь» за немцами», солдат-снайпер попал в окружение. Обстановка становилась тяжелой. «И вдруг взгляд мой,— говорит боец,— упал на кисет, оставленный мною на бруствере. «Будь храбрым!» — сверкнули огненные слова». Продолжая повторять их, он ведет неравный бой, отбивает врагов, но и его тяжело ранят.

«Вместе нас ранили,— говорит он о кисете,— и вместе вернемся домой».

Кулиев наверняка услышал все это из уст реально существующего снайпера и передал его рассказ почти дословно. Здесь мы не найдем ни композиционной организации материала, свойственной жанру рассказа, ни лепки характеров. Думается, что указанный выше подзаголовок у Кулиева имеет не терминологический смысл, а означает — рассказ бойца. Для автора в данном случае важно не художественное обобщение, а достоверность факта. Это не обращение поэта к «малым формам», как считает Д. Бычков. Это тоже написано поэ-

том как очередная корреспонденция. И большинство из них, как и требовалось для газеты,— сообщения о событиях на фронтах, о победах, одержанных боевыми соединениями и отдельными бойцами, о редких часах фронтового досуга и т. д. Но часто поэт не удерживается в рамках обычных газетных сообщений и вкладывает в них свой поэтический темперамент. И тогда появляются вещи, заставляющие вспоминать «Русские дороги».

Прав А. Кешоков, когда в корреспонденции Кулиева «Труп убийцы», отмечая «языковые огрехи», видит «яркую образность, присущую его мышлению». Интересно последующее свидетельство А. Кешокова, работавшего тогда в одной с Кулиевым редакции. «Вот почему,— продолжает А. Кешоков,— секретарь редакции эти «поэтические вольности» не зачеркивал, не убирал их из набора, как он поступал в подобных случаях с другими».

«Это не выдуманно. Так было. Ночью пришел приказ о наступлении. Бойцы его слушали, затаив дыхание»,— так начинается корреспонденция «Песня». Автор продолжает в той обычной газетной форме констатировать: «И вот началось! Бьют наши орудия, минометы. Бойцы выскочили из окопов и двинулись вперед. Они перебегают и ползут, людям хочется быстрее добраться до того места, откуда они могут рвануться в атаку. Теперь наши орудия перенесли свой огонь в глубь обороны противника» и т. д. Когда подошли к нужному рубежу, старший сержант Васильев перестал ползти, встал во весь рост и «запел песню: «Смело, товарищи, в ногу...»

Вначале этот эпизод представляется несколько натянутым, схематично передана мысль о боевом содружестве наций: «Пели казах Таджибаев, татарин Хабибуллин, армянин Сарьян». И вдруг — как торжественная оратория — вступает величественный и широкоохватный мощный лирический голос... «Старая бессмертная песня, которую помнят баррикады революции, улицы

Петрограда и Москвы, песня, которая, как на окровавленных крыльях, несла суровых рабочих к победе в октябрьские дни, звучит под чистым предрассветным украинским небом и несет бойцов вперед, на врага, на немецких палачей. Песня бессмертная, справедливая, песня священной борьбы и правды».

Дальше опять идет описание факта: «Хабибуллину пуля пробила руку, но он не отстал от друзей, не бросил поля боя. Поднимая вверх раненую руку, откуда текла алая кровь, он шел и шел вперед». И в конце — вновь строки, идущие от яркого, образного восприятия явлений: «И как высоко взметнешься ты к вечному небу в день великой нашей победы, песня!»

Здесь фрагменты фактического и художественного планов резко отличаются друг от друга. В некоторых корреспонденциях образно-изобразительный, лирический элемент, не заслоняя их газетного характера, в то же время равномерно пронизывает их.

«Он не должен уйти» — одна из рядовых корреспонденций поэта. В центре ее — факт, трагический и тоже рядовой для тех лет.

Статья строится как лирическое стихотворение, в котором части, выделяя границы переходов мысли, в то же время взаимопроникают, «замыкают» начало и конец, составляя стройное целое.

Каждая часть в зависимости от содержания имеет свой темп, свою интонацию, тоже подчиненную единой цели.

Цель автора — звать бойца к мести.

Начинает Кулиев широко, раздумчиво. Строки ложатся мерно, неторопливо; слова почти все произносятся отдельно, с глубокой паузой после каждого, — так трудно охватить всю меру вложенной в них горечи и закипающего в сердце негодования: «Еще дымятся в городе подоженные врагом жилища русских людей. И зола тех домов, которые догорели, не остыла, она еще

горяча, как ненависть к врагу. Эта неостывшая и горькая зола зовет на запад. Так же, как горе старухи, что сидит перед нами у развалин своего дома».

Пересказ факта, сообщенного старой женщиной-очевидцем, которую поэт встретил у пепелища ее дома, ведется в тоне горячей взволнованности. Замедленный темп и отрывистость речи соответствуют напряженности, с какой развивается событие. «Старуха забыла про свое горе. Она рассказывает нам о несчастье другого, соседа. Недавно у соседа от тифа умерла жена. Осталась двухлетняя дочка. Умирая, мать говорила: «Что же будет с Наташей?..» Прошло несколько дней. Немцы начали отступать. Двое немецких солдат и офицеров пришли за соседом. Говорили, что он сигнализировал русским самолетам и партизанам. Вывели его из хаты. Маленькую Наташу он нес на руках. Офицер приказал оставить девочку. Но кому, как? Отец не бросает девочку. Тогда, по приказанию офицера, солдат вырывает дочку из рук отца и бросает на землю. Девочка поднимается и с плачем идет к отцу. Тогда немецкий офицер спокойно вынимает пистолет и делает два выстрела в девочку. Одна пуля попадает в голову, другая в грудь. Отец бросается на палача. И... падает мертвым от гитлеровской пули. Для офицера этого мало. Он приказывает солдатам поджечь дом убитого. И вот сейчас медленно догорает этот дом рядом с домом старухи».

Только закончилось изложение эпизода, как вдруг — резкая перемена в интонации поэта: нет сил смотреть на эти зверства. Единственный избавитель людей от нечеловеческих мук — советский воин: «Воин Красной Армии! Единственный и всесильный судья над убийцами! За смерть девочки, за гибель отца, за горький дым и еще не остывшую золу дома старухи, за ее седину и сухие морщины — шире шаг!» Так прорывается гнев, нарастающий в продолжение всего предшествующего рассказа. Воин должен действовать немедленно — обру-

шить яростную месть на убийц. И когда в конце корреспонденции читаем эпизод из горской легенды: «Советский воин! У горцев есть мудрая легенда. В ней рассказывается о том, что, когда встречается человек со змеей, солнце останавливается и наблюдает за их борьбой. Убить змею — священный долг человека. Воин! Ты встретился с немцем — со змеей. И весь народ наблюдает за твоей борьбой, как солнце в горской легенде. Убей змею! — говорит весь народ. Кровь маленькой Наташи на руках палача», — мы отчетливо представляем, как боец вслед за автором повторяет в душе: «он не должен уйти от твоего карающего штыка».

Вряд ли Кулиев специально заботился о каком-то определенном построении статьи, тоне, ритме, образах. Он писал так, как мыслил. А мыслил он как художник поэтическими образами, аналогиями, ассоциациями, которые как бы сами «находили» свою форму выражения. Отсюда почти полное отсутствие в его поэзии рассудочной философии.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В середине апреля 1944 гда Кайсын Кулиев был ранен под Севастополем и направлен в Симферополь, затем в кисловодский госпиталь. В октябре того же года признан негодным к военной службе. Выписавшись из госпиталя, он едет в Киргизию, где в то время вынужденно находились балкарцы¹. Сам Кулиев в автобиографии так свидетельствует об этом:

«31 декабря я выехал в Москву. Снова явился на улицу Воровского. Здесь узнал, что в высшие инстанции послано ходатайство обо мне за подписями Тихонова, Эренбурга, Симонова. Через месяц было получено для меня разрешение жить, где хочу (за исключением Москвы и Ленинграда). Об этом сообщил мне Тихонов. Я поблагодарил его и попросил дать мне возможность подумать и прийти к нему на следующий день.

В назначенный час явился к Тихонову. Сказал ему о своем решении.

— Хорошо ли подумал? Потом не пожалеешь?

¹ После XX съезда балкарцы возвратились на Северный Кавказ. «...Устранялись извращения ленинской национальной политики, допущенные в период Великой Отечественной войны. Восстановлена была автономия балкарцев, калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев. Это благотворно сказалось на их всестороннем развитии в братской семье народов СССР, на укреплении дружбы советских народов» (История Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат. М., 1973, стр. 567).

— Нет, что бы ни случилось!

Тихонов помог мне получить разрешение перевезти мать, сестер и других ближайших родственников из Северного Казахстана, где они не переносили холода, во Фрунзенскую область, в Киргизию.

Прожив в Москве более трех месяцев, в середине апреля 1945 года я уехал в Среднюю Азию. На Казанском вокзале меня провожали друзья»¹.

Эти годы оказались особыми в творчестве поэта — здесь полно выразилась глубокая, подлинная народность его мироощущения. Именно здесь народность, партийность Кулиева проявились ярко и органично, пожалуй, не менее, если не более ярко, чем в войну.

Характеризуя это время в жизни и творчестве поэта, Н. Тихонов пишет: «Кайсын Кулиев пришел в поля и леса Севера как сын единой нашей отчизны. Он героически сражался на фронтах Отечественной войны. Пал от усталости, падал раненый и снова возвращался в строй. Его видели просторы Прибалтики, он был под Москвой и Тулой, от Сталинграда дошел до Севастополя, участвовал в освобождении Ростова, Донбасса, Крыма, форсировал Сиваш с первой группой советских войск.

Бесчисленны эти фронтовые дороги, встречи на них, сражения, схватки, атаки и штурмы. Он жил в мире героическом и вдохновенном.

Этот мир был ему по душе, но мужества ему надо было иметь большой запас, потому что помимо походов и сражений ему пришлось испытать еще многое... но он вынес все и не только не утратил, а усилил свое поэтическое чувство мира».

Какие бы горькие настроения подчас им ни владели, они никогда не приводили поэта к замкнутости, мелко-

¹ Советские писатели. Автобиографии. «Художественная литература», М., 1972, т. 4, стр. 252—253.

темью, негативизму. Он остается во всем до конца верным марксистско-ленинским идеалам. Условия, в которые поэт был поставлен, как мы знаем теперь, были трудными, но в поэзии Кулиева, порожденной этими же условиями, нет «однодневок»; его лучшие стихотворения тех лет являются ценным вкладом в нашу философскую и эстетическую мысль.

Таковы его стихотворения, вызванные к жизни тоской по Балкарии. В них поэт освещает новым светом вечное святое человеческое чувство — чувство родины; в них он говорит людям что-то значительное, важное, заложенное в человеческой природе, как ее неотъемлемая часть.

Если стану глухим, все равно буду слышать
Шум твоих листьев, осенних,
Если стану слепым, не теряясь
пойду
По дорогам твоим, где кровь моя
была пролита.

(«Родной земле». Подстрочный перевод)

Образ Балкарии неизменно сопровождает его, не только заставляя тяжело страдать, но и являясь одним из источников жизненных сил; родной аул, где прошли детские игры, где родились первые поэтические опыты, где он впервые узнал, как прекрасна жизнь, отчетливо предстает перед ним. Оно, это чувство, приводит поэта и к эстетическому восхождению. Многие из стихотворений покоряют правдивостью поэтического образа и особой нежностью интонаций.

В стихотворении «Смородина» очень знакомое, широко распространенное понятие — облик родной земли — поэтически оживает; возникнув из обычного, незначительного на первый взгляд воспоминания:

Поэта неотступно преследует многоголосая красочная картина: в его лесу, напоминая ночных табунщиков, перекликались совы, по утрам самозабвенно «гремели птичьи хоры», поэт упоенно бродил среди захватывающей роскоши, впитывал ее в себя; на его руках, губах, щеках, в его душе оставила след «кровь смородины». И ничем нельзя заслонить все это, вытравить из памяти.

И ничем ее не смоешь,
Никакие реки мира
Смыть не могут этой крови,
О родной Темирчикол!

(«Смородина».
Перевод Е. Елисеева)

Родину ничем нельзя заменить; любовь к родной земле нравственно возвышает самого человека, согревает его сердце. Именно поэтому такое сильное впечатление производят, казалось бы, очень простые строки Кулиева:

Я верю: не придет вовеки смерть ко мне,
Пока я не вернусь к тебе, аул!

(«Мой аул». Перевод С. Липкина)

О многом говорит и настраивает на ожидание само название стихотворения К. Кулиева «Другу в беде», и решения темы могут быть самые разнообразные. Но когда читаешь стихотворение Кулиева, думаешь, что это единственно верное, единственно возможное решение: оно выражает предельную выдержку и самосохранение для борьбы, для победы, для жизни; вселяет веру во все это и в свои силы:

Не плачь и постарайся, друг,
Спокойным быть, как облака,
Что в небе плавают вокруг.
Кого не бьет беды рука?

Чернее быть не может дня,
Потери — больше. Ты неправ:
Будь мудр — кто потерял коня,
Не плачет, плетку потеряв!

(Перевод Н. Тихонова)

Не менее интересно, поражает новизною открытия, психологической глубиной, чеканной формой воплощения мысли четверостишие поэта «Если радость придет...», написанное на ту же тему, что и «Другу в беде», это — обобщение большой смысловой и эмоциональной силы:

Если радость придет, радость прими
И не гордись, будь достоин ее.
Если горе придет, губы сожми
И не страшись, будь достоин его.

(Перевод Н. Гребнева)

В стихотворении видна идея благородного уважения к человеку, в нем заложено возвышающее человека начало, надежда на его нравственные силы и возможности — быть достойным радости и горя, быть достойным самого высокого на земле — это самой жизни. Задача не легкая и не простая, но на ней земля держится; все духовные завоевания человека в конечном счете направлены на ее благоустройство, в том числе — мужество и борьба.

Поняв это, все более и более утверждаешься в глубокой жизненности и ценности поэзии К. Кулиева. Идеи поэта органически вырастают из его собственного опыта, его наблюдений, его природы — природы гуманного мыслителя. Отсюда возникает и создается поэтический образ человека во всем многообразии его восприятий, переживаний и душевных движений.

Для него «жизнь — это значит дорога крута», но одновременно «жизнь — это значит в глазах высота». Жить — значит

Вершины будут белеть впереди,
Страх будет стараться нас напугать,
А мы, одолевая пропасти все,
Будем вверх подниматься,
все вверх подниматься.

(Подстрочный перевод)

Поэта манит «вершина светла и строга», с нее открываются дали, пространства жизни и человеческих деяний.

Кулиеву-то все это известно доподлинно — испытано до конца. В стихотворении слышится не только вера в победу, но и торжество победы.

Вот эта высота миропонимания, поэтического видения, масштабность природы, художественная раскованность, которые видны во всех лучших стихотворениях Кулиева, обуславливают и идейно-художественную высоту его поэзии, делают ее подлинно одухотворенной и долговечной.

Кулиев пристально всматривается в действительность, пытаюсь глубже постичь ее закономерности, занят он и философскими идеями, он ищет ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Интересны в этом отношении два его произведения — «Юноша, у которого похищена любимая» и «Легенда», написанные в духе народных преданий.

По сюжету оба предания похожи: в том и другом герой ищет отнятую у него невесту. По идейному замыслу они дополняют друг друга.

Предание «Юноша, у которого похищена любимая» четко делится на три составные части: песню джигита, кратко авторского отступления и песни девушки.

Горе юноши, потерявшего любимую, безмерно. Но ему слышится знакомый голос девушки: «Иди, смело иди, не уставая, //Ты выйдешь из тумана, //Ты найдешь меня». Она вселяет веру в уставшего от ожиданий героя: «То, что ищет, находит тот, //Кто идет, не теряя надежды,— не плачь, //Кто живет, не сгибаясь под горем, тот находит,— //Не плачь». Уверенность героини объясняется тем, что она знает: «Свободе не может воспрепятствовать ни одна железная гора, не плачь, //Переваливай через горы, не плачь. //Не теряй надежды, иди, не плачь, //Горе уйдет, не плачь. //Запертую крепость //Правда откроет, не плачь!»

В «Легенде» есть и еще одна сюжетная линия. Герой сетует на то, что ему не дали сразиться — умереть, но отстоять свою Зарият: «Отбрали у меня оружие, связали назад руки». Он возжелал гибели, но с ним заговорила звезда: «От радости, что ты на земле живешь, //Так я светла. //Я для тебя горю. //Живи на земле, где так много забот!.. //Смерть — мой враг. //Тебя в ее руки кто же отдаст? //Если тело твое засыплет земля. //Звезды оденутся в траур. //Хоть на земле невзгод много, //Солнце светит, //Звезды горят, //Смелых дорогу освещают. //Живи в мире. //Не дай себя победить!..»

В разговор вступает роса: «Кровь твою на себя взять не могу! — //Говорит ему ночная роса.— //Твоя жизнь,— //Как я — нова, //Как я — чиста. //Я для таких, как ты, прихожу ночами в мир, //Ради таких, как ты, //Ложусь на упругие плоды, //Чтобы они стали сочными. //Живи! Утром, когда солнце //Всходит, как я блещу, //Увидишь ты. Живи! //Ты, если умрешь, //Уж не увидишь этого».

Обращается к нему трава, предлагая отдохнуть на ней, когда он устанет на трудном пути, говорит, что для него она раскинулась зеленым морем, нежась под обильными дождями. «Живи ты, радуясь мне, на этой удивительной земле!» Луна говорит, что она и не восходила бы, если бы не была нужна людям. Обещает освещать

тому ночи, когда юноша будет искать Зарият. Речка предлагает свою чистую воду — для него она бежит, преодолевая множество преград на пути... Чинара может мерным шелестом листьев успокоить сердце его. А прилетавшие к ней птицы рассказали ей, что луна, звезды, леса, земли, речки, животные — все любят его, помогут несправедливо наказанному джигиту.

Герой пробуждается к новой жизни. «Начал путь свой юноша, //Чтобы трудиться, победить, жить, //Какой бы трудной дорога ни была, //Чтобы найти Зарият. //Ночами его путь //Освещали звезды, //Помогали реки, травы, //Добрая луна, птицы...»

Жизнь прекрасна — утверждает поэт, все в мире создано для человека; его герой непобедим. И рядом с преданиями, соотносённость образов которых с жизнью также очевидна, встает такая пронзительно земная, бесконечно дорогая человеческому сердцу картина, как в стихотворении «Первой весной после войны...»:

Он в сапогах, в линиялой гимнастерке.
Глаза солдата ненасытно зорки.
Трава. Хребты. Речушки горной гул.
Петуший крик. Родимый дом. Аул.
И, сплюнув на руки и взяв лопату,
Он яблоньки сажает, как когда-то.

И босоногий сын спешит помочь.
И столько солнца, что смотреть невмочь.

*(«Первой весной после войны».
Перевод Д. Голубкова)*

Сила «земного притяжения», могущество и святость жизни показаны поэтом со всей наглядностью и осязаемостью. Это стихотворение также один из своеобразных примеров того, как поэтическое чутье подсказывает художнику, кажется, единственно возможную в данном случае форму выражения данных мыслей и ощущений.

Короткие назывные предложения («Трава. Хреб-

ты. Речушки горный гул. Петуший крик. Родимый дом. Аул»), из которых состоит вторая строфа, делают первую ее строчку очень «вместительной», раздвигая горизонты разом схваченного «ненасытно зоркими» глазами солдата. Ее вторая строка, также отчетливо рисующая очень «домашнюю» картину, связывает все части стихотворения. Она возвращает нас к началу стихотворения и раскрывает его содержание — солдат еще только с дороги, не успев снять линялой гимнастерки, сажает сад, — затем связывает с последней строкой, обуславливая ее смысловую окраску: оттого, что сажает сад, солдат бесконечно счастлив, счастьем дышит все вокруг — «и столько солнца, что смотреть невмочь». Трудно поверить, что предания и эти строки написал один и тот же человек — так светлы интонации стихотворения «Первой весной после войны».

Высокая влюбленность в мир, в его передовые идеи, сознание неколебимости его принципиальных основ не только помогает Кулиеву переносить невзгоды, но благодаря им он без заданности, совершенно естественно выходит далеко за сферу мотивов и настроений, связанных с трудной личной судьбой. Он озабочен судьбами мира, и удивительно свежи, цельны образы, какие он находит для выражения этой огромной заботы:

На гроздья винограда снова пала
Кровавая холодная роса.
И снова тень побоища бывшего
Легла на пашни, горы и леса.

Не раз, не два на плечики ребячьи
Ложилось злого ворона крыло...

Непобедимы
 свежий хлеб горячий,
Пеленок детских
 вечное тепло!

(«На гроздья винограда...».)
Перевод Д. Голубкова)

Кажется, ни одна малая примета сущего не проходит мимо него. И тогда стихи говорят языком подчеркнуто бытовых деталей и дышат непосредственностью, если даже поэт декларирует:

Я люблю людей и огонь очага.
Люблю черный дымок над крышей
Дома, покрытого белым снегом,
Солнце, которое медленно заходит,
будто устало.

Я люблю веселые, быстрые пляски,
Стихи, деревья, траву.
Люблю хлеб и камень земли.
Потому я и люблю на земле мир.

*(«Я за мир, потому что я сам воевал».
Подстрочный перевод)*

Он никогда не может отгородиться от мира, остаться наедине с собой. В деятельном мире поэт находит созвучные своим настроениям мотивы. Он обнаруживает общительность и щедрость, свойственные подлинной поэтической натуре, с ее безыскусственной смелостью, жаждой познаний и окрыленностью:

Взглядом орлиным окину весь мир с высоты,
Серной пугливой прильну к ледяному ручью,
Горным туманом сойду на луга и цветы.
Жизнь! Как люблю я орлиную силу твою!
В слове поэта, могучем, как горный обвал,
В мысли ученого сразу тебя узнаю.
Вот почему я стихи о тебе написал,
Жизнь! Как люблю я орлиную силу твою!

(«Жизнь». Перевод Е. Елисеева)

Перед поэтом все шире раздвигаются горизонты проникновения в законы общества, с непререкаемым чувством правды решает он проблему — человек и общест-

во; человеческая сущность его произведений вырисовывается все отчетливей, он сердцем тянется к людям и черпает в них жизнестойкость. Кулиев врос глубокими корнями в жизнь. Он вглядывается в прожитое и видит свое полное единство с народом:

Я, люди, рожден на этой земле,
Для того, чтобы вас любить.

И если мне бывает тепло,
То это от вашей любви.
И ваша радость — радость моя,
И ваше горе — горе мое,
Оно согнуть не в силах меня:
Ваша твердость в крови моей.

Поэт имеет все основания на такое заявление, потому что ему довелось видеть горе, знал он и радость, счастье. Удавалось же ему выстоять перед невзгодами потому, что он всегда был с людьми, «в радостный час и в горестный час» шел «бок о бок» с ними, «падал, вставал и жалобных слов старался не говорить». Поэт возвеличивает людей за их мудрость, жизнь — за радости, землю, по которой он ходит, — за то, что она такая, какая есть. Он не ищет привередливо необычного, хотя, как мы знаем, ему органически чужда приземленность. Поэту открывается истина — земля в своей обыкновенности уже чудо. Осознание ее могучей силы и опора на нее делают его несокрушимым; диалектическая взаимосвязь человека, общества, окружающего мира воспринята Кулиевым во всем ее величии, цельности и простоте.

Земля моя, где трава зелена,
Где ароматны цветы,
Земля, где хрустит под ногами снег,
Где песок под ногами хрустит.
Земля, где быстрые реки текут
И созревают хлеба,

Земля, где ночи сменяют дни,
Где трудимся мы, где боремся мы,
Я создан, чтобы тебя любить,
Я создан, чтобы тебе служить.

.
Земля, я силен силой твоей,
Жизнью твоей могуч.

(«Стихи, написанные в день рождения».
Перевод Н. Гребнева)

Символично само название произведения — «Стихи, написанные в день рождения» — отчет перед собой и перед людьми в этот знаменательный для него день, исповедь ума и души. Н. С. Тихонов справедливо увидел в этом стихотворении Кулиева, «как горячо, как сильно любит поэт наше большое, героическое время». «Это, — продолжает Н. Тихонов, — строки искренней лирической исповеди человека, способного на высший подвиг во имя любви ко всему живому, глубоко чувствующего...» Мысли о всепоглощающей любви к своему времени, о могучей силе бытия были одной из главных в его военной поэзии. Но только теперь впервые так полно, многосторонне, продуманно мог высказать их поэт.

Многие стихотворения Кулиева этих лет задуманы как гимн сознательному мужеству. Таковы «В трудный час», «Если радость придет...», «Как только ночь...», «Тур», «Восхождение» и др., почти весь цикл «Песни горных ущелий». А такие, как «Первой весной после войны», «На гроздьях винограда...», «Трава растет», «Жизнь», «Стихи, написанные в день рождения», — позитивное отражение его духовной силы. В них — основа его поэтического видения.

Спустя несколько лет Кулиев сформулирует: «Уверен, что художниками становятся те, кто беспредельно любит землю от ее снежных вершин и до простой запыленной былинки у дороги».

В эти годы — именно там, вдали от родины, Кулиев создает большой цикл стихов в духе народных песен. У раннего Кулиева эти стихотворения были своеобразным непосредственным изложением своей реакции на народные песни.

Первое стихотворение цикла «Песни горных ущелий» — «Над старой книгой горских песен» — тоже выдержано в этом стиле. Книга горских песен, о которой здесь говорится, — фольклорный сборник, составленный Эффенди Капиевым «Песни горцев». Поэт читает горские народные песни и о своих мыслях, чувствах, переживаниях, вызванных этими песнями, рассказывает нам. Так, поэт проникся глубоким уважением к горянке, сострадает ей, любуется ее поэтическим обликом; ему представляется картина рождения песни:

Глядя на горы, залитые светом
Луны, и косы опустив,
Считая звезды и шепча при этом
Родное имя, сердцем загрузив,

Горянка песни многие сложила.
Я знаю песни девушки-красы,
Что сердца боль в стихи свои вложила
И волосы сложила в две косы.

За песней Кулиев видит жизнь родного народа: рядом с фигурой песенницы встают суровые будни:

И среди строк певучих и звенящих
Я вижу черные глаза, потом
Наездников, ущельями спешащих,
И тонких рук девических излом.

И взмах бровей и тонких губ движенья,
Они живыми снова предстают,
Погибшие в бесчисленных сраженьях,
Тут из могил храбрейшие встают.

Народное творчество рождалось как необходимость. Песни народ создавал потому, что не мог не создавать, не мог не петь. В них он осмысливал свою жизнь, выражал свое отношение к ней. Привлекает кристальной чистотой образ творца песни.

И как река — не течь она не может,—
На мир глазами чистыми смотря,
Вы, как река, создали песни тоже,
«На что они нужны!» — не говоря.

«Песни горных ущелий» — своеобразная повесть о жизни, судьбах горцев в прошлом. Стихотворение «Над старой книгой горских песен» можно назвать вступлением к этой повести; в нем как бы намечена ее программа. Когда писалось это стихотворение, поэт еще не думал о цикле произведений. Но сдвинулся камень, и обрушилась поэтическая лавина воспоминаний:

Шум горных рек, ему в ущелье тесно,
Став струнами, по сердцу пробежит,
И прошлое, встающее из песен,
Как будто ветром надо мной шумит.

(Перевод Н. Тихонова)

Перечисленные в первом стихотворении события укрупняются, разрастаются, составляя в целом обобщенное повествование, где воплощены яркие штрихи народной жизни, истории национального характера балкарского народа. Так составилась цикл, представленный, как уже говорилось, своеобразно. В 1947 году после «Над старой книгой горских песен» написано еще одно стихотворение, и в 1948 году — одно. Остальные (в цикле 20 стихотворений) написаны в 1950—1953 годах.

На первый взгляд эти стихотворения кажутся отдельными зарисовками. Каждое стихотворение, взятое отдельно, не наводит на большие размышления. Но, читая страницу за страницей, вникая в развернутую кар-

тину условий быта, нравов горцев, видишь целостную историческую панораму.

Поэт ведет рассказ о жизни-подвиге, когда все добывается в бою, даже любовь,— все требует воли, стойкости.

Перед глазами возникает картина гибели едущего по ночному ущелью всадника. Тяжелы дороги:

Угрюмые горы, ночные леса,
Копыт приглушенный стук...
Пять всадников скачут,
А небеса
Словно худой бурдюк.

Трудно скакать без звезд, без луны.
Дождь. Тяжелы башлыки.
Дорога длинна,
Горы темны,
Пропасти глубоки.

От шалого выстрела ночь между скал
На миг озарилась огнем.
То ли камень в пропасть упал,
То ли всадник с конем.

(«В пути». Перевод Н. Гребнева)

В оригинале выстрела нет. Автор не конкретизирует причину гибели. Его мысль: суровой была жизнь горца — на каждом шагу подстерегала опасность. (Мог быть в том числе, конечно, и шальной выстрел, как в переводе.) И эта опасность не только не пугала, а закаляла.

Намеренно не говорит поэт о том, кто эти всадники, куда и зачем ехали, желая подчеркнуть обыденность случившегося. Например, так случилось на охоте (а без охоты горец жить не мог):

За добычею в лес
Шел по тропе человек,
Но синеву небес
От него закрыл снег.

Человек за добычей шел,
Но человек мал в горах,
А снежный обвал тяжел,
И страшен обвал в горах.
Ты упал на снег, человек,
Над тобою снег, под тобой снег,
Белым снегом глаза полны,
Снега полно вокруг.
От такой белизны
Стало темно вокруг.

(«Снежный обвал в горах».
Перевод Н. Гребнева)

Кулиевское понимание народной жизни мы находим
в фольклорных песнях.

Сравни, например:

Ой, снова на туров идешь ты, сынок,
И в горы твой путь далек.
В ущельях снег бел и высок,
И нет ни троп, ни дорог.

Сын мой, наверно, в горах снегопад,
Глаза мои вдаль глядят.
Из тех, кто уходит туда, говорят,
Не все приходят назад.

С горы не каменный дождь ли упал?
Не снежный гудит ли обвал,
Не давний ли кровник наш точит кинжал
И ждет в расщелине скал?

(Перевод Н. Гребнева)

Или:

Снег идет, все снег и снег...
Спит богатый человек,
Снег идет, в пути занос,
Погибает водонос.

Снег идет, в горах туман,
Спотыкается чабан,
Замерзает дровосек,—
Снег идет, все снег и снег...

Обе песни, как видим, не исторические, не историко-героические, а бытовые, скорее историко-бытовые. Первая, казалось бы, очень личного плана. Вторая — сатирико-обличительного характера. Первая строфа ее такова:

Снег идет, все снег и снег...
Спит богатый человек,
Ой, в тепле его жена
Все глядит: полна ль мошна.
Дочь у зеркала сидит,
Сын поет: он пьян и сыт.

(Перевод Н. Гребнева)

Тем не менее обе насыщены драматизмом и целомудренным мужеством.

Яркую картину горского быта и черт национального характера находим в «Песне охотников».

Ветер холодный морозит нам кожу,
Скользки дороги зимой.
Бог Абсаты нам в пути да поможет,
С ветром мы справимся, хой!

.....

Если сойдем со своей мы дороги,
С чем возвратимся домой?
Где б ты ни прятался, тур круторогий,
Пули найдут тебя, хой!

Жены в селеньях глаза проглядели,
Матери плачут в ночи.
Пусть наши бороды обледенели,
Были б сердца горячи.

Кто полагает, что путь наш не страшен,
Воля судьбы не крива?
Но лучше песня о гибели нашей,
Чем о бесславье молва.

(Перевод Н. Гребнева)

Кулиева захватывает та выдержка, с какой народ воспринимает трудности и горе.

У матери два сына погибли в партизанах. Товарищи привезли их тела домой и в утешение матери говорят:

Что делать, коль путь наш таков,
Коль нету товарищей наших, а есть
Лишь светлая память да черная весть.
Могила и мужество — брат и сестра,—
Сказали они и ушли со двора.
Сказали они и снова в поход,
И скрылись меж скал крутых.

(«Ожидание». Перевод Н. Гребнева)

Трудности неизбежны. Один гибнет под обвалом, другой — заблудившись на охоте, третий — в борьбе с врагом. Живые сегодня, получив весть о чьей-то гибели, завтра сами идут на опасное дело по тем же крутым тропам, над той же бездной.

Это, разумеется, не равнодушие к горю. Напротив, та удивительная устойчивость, что называется народной мудростью. Народ никогда и не рассчитывает на жизнь без опасностей и трудностей. Поэтому всегда подготовленно встречает их, поэтому среди горестей и бед не теряет своих лучших качеств. Вот что дорого Кулиеву. В этом и пафос «Песен горных ущелий».

В трудное для народа время всегда возникает потребность осмыслить его прошлое, его традиции, условия формирования национального характера; возникает потребность опереться на завоеванные победы. Так было, например, в годы Великой Отечественной войны.

Прошлое Кавказа привлекает поэта не романтическим звоном кинжалов, безудержным удалством джигитов, а своим драматизмом. На жизнь Кавказа он смотрел всегда с этой стороны, по-своему. И «Песнями горных ущелий» он сказал, что устойчивость, твердость, преданность родной земле — издревле присущие народу качества.

Весь цикл пронизан этим настроением, точнее — возник из него. Но имеются и прямые соотнесения: «Те, кто в тяжелый час, упав на землю, // Не плакали беспомощно, // Когда приходила беда, оставались мужами, // По бездорожью вперед шли! // Я ваш певец. // Над пропастью // Сам вися, песни // Ночью вам пою я, их // Окрасила кровь сердца моего».

Вызванные к жизни стремлением поэта найти моральную опору, «Песни горных ущелий» объективно стали еще одним этапом нравственного и художественного роста Кулиева; в них осязаемо конкретно выражена связь с народом. Он открыл в народе новые черты, познал источники мудрости народной. Все это скажется в дальнейшем на всем характере его поэтического мышления.

Обращение к фольклору на этот раз побудило Кулиева к новым опытам в области поэтической формы. Прежде всего это привело к многообразию строфических, ритмических, рифмических форм.

Встречается обычная четырехстрочная строфа с перекрестной рифмой (абаб), рифмуется второй и четвертый стих, первый и третий не рифмуются (абсб), двустишие со смежной рифмой (аа), сквозная рифма с рефреном (аааб), безрифменный стих с четырехстрочной строфой (строфы разделяются синтаксически и ритмически) и астрофический.

Последний наиболее соответствует фольклорным мотивам цикла.

Здесь Кулиев достиг замечательного совершенства, доказав одновременно большие возможности белого стиха в карачаево-балкарском языке.

Таковы стихотворения «Вечером на развилке горных дорог» (в русском переводе под названием «Вечерняя баллада»), «В ночном ущелье», «В ночном пути» (в русском переводе под названием «В пути». Переведено рифмованным стихом), «В полночь», «Снежный обвал»,

«Ночная песня» (на русский язык переведена рифмованным стихом).

Работа над белым стихом открыла поэту новые изобразительные возможности ритмической организации.

Своеобразие ритмико-синтаксических конструкций придает этим стихотворениям их неповторимую эстетическую прелесть, способствует созданию в лирических стихах эпичности и воплощения самобытной кавказской жизни.

Каждое из лучших стихотворений цикла требует отдельного анализа, оно имеет свою конструкцию. Возьмем, к примеру, «В ночном пути». Стихотворение разделено на пять частей.

По дороге едут пять всадников.

Пять всадников едут по дороге.

Ночь темна.

Дождь льет, как из бурдюка. На дороге пять
всадников.

Едут пять всадников,

Пять всадников.

С бурок стекает вода, башлыки мокры.

Пять всадников едут по дороге. Под дорогой
пропасть.

Пропасть полна (доверху) темнотой...

Пять всадников едут по дороге. Скалы мокры,—

Дождь, как бичами, сечет их.

Пять всадников едут по дороге, окруженной

От проливного дождя намокшими скалами
дороге...

(Подстрочный перевод)

После каждого повтора образы всадников все более и более выдвигаются на передний план. Становятся как бы душевно ближе к читателю, который озабочен их судьбой.

Повтор этот несет и другую изобразительную нагрузку. Он цементирует стих, заменяя отсутствующую

рифму. Его синтаксис определил строй всей строфы и ритмическую организацию стиха: короткие отрывистые предложения в половину стихотворной строки или одну строку, придавая повествовательный характер стихотворению, дают в то же время возможность, не излагая события, путем «называния» примет пейзажа, вещей, людей, признаков движения воспроизвести суровые условия жизни и мужественные характеры.

Ритм поддерживается своеобразием звучания стиха. Кажется, сам воздух напоен, наэлектризован тревогой, ожиданием опасности. По-балкарски стих звучит так:

Беш атлы баралла жолда.

Кече кьараньы

Жауун бохчакъданча кьуйад. Жолда беш атлы.

Баралла беш атлы,

Беш атлы.

Интонационную нагрузку несут гласные, на которые падают основные ударения: 3, 5, 8, 13 — в первом стихе; 2, 5, 8, 13 — во втором стихе; 2, 6 — в третьем; 3 — в четвертом. Причем эти звуки здесь долгие — читаются протяжно, как бы отталкиваясь от предыдущего слога (на толчок условно указываем графически апострофом) и рассеиваясь вроде затухающего эха.

Беш ат'лы-ы-ы ба'ра-а-алла жол'да-а-а.

Кече кьара'ньы-ы-ы.

Звук «л» создает непрерывную цепь (ленту) движения: беш атлы — баралла — жолда — жолда — беш атлы — баралла — беш атлы — беш атлы и т. д. Шипящие «ш», «ч», «ж» передают многоголосые полшумы, шорохи ночных гор, смешавшиеся с шумом дождя.

И дальше в стихотворении события не описываются. Во второй строфе — сплошное движение, переданное в звуках:

Стук копыт,
Звон стремян,
Свист плети
Под дождем,
В ночи
Едущие пять всадников...

и —

Ржанье коня,
Стон человека,
Из черной пропасти,
Будто камень упал,
«Горф»¹ вырывается.

Что произошло? Не стало одного всадника. Это мы узнаем из следующей части. Никакихотяжеляющих стих подробностей. Переход четкий. Едут четыре всадника. Едут, как прежде ехали пятеро. Драматизмом насыщен весь настрой строфы.

Четыре коня спешат с недоброй вестью.

Четыре всадника едут по дороге.
Ночь темна.
Дождь льет, как из бурдюка. На дороге четыре
всадника.
Едут четыре всадника,
Четыре всадника.
Едут четыре с недоброй вестью
всадника под дождем.
Четыре коня спешат с недоброй вестью. Свист
плети.
Едут четыре всадника,
Четыре всадника...

По построению, по звучанию эта часть повторяет первую — мерное, как будто ничем не нарушенное движение продолжается... Именно здесь находит полное выражение авторский замысел: случившееся носит

¹ Звук падения.

роковой, неотвратимый характер, и притом оно обыденно.

По художественному выполнению цикл неровен. Встречаются длинноты, композиционная рыхлость, связанные с этим лексические штампы (в стихотворениях «Над старой книгой горских песен», «Старая песня стучится в мою дверь», «В ночном ущелье», «В полночь»; в сюжетных стихотворениях «Вечером, когда гремел гром», «Ожидание»). Однако лучшие стихотворения цикла замечательны как раз сюжетностью, четкостью композиции («В пути», «Снежный обвал», «Побег», «Вечером на развилке горных дорог»). Как бы на едином дыхании написаны «Ночная песня», «Зекер и Зари», «Вороной».

Влияние фольклора на Кулиева, конечно, отразилось не только в этом цикле. Но здесь оно выражено прямо и непосредственно. Спустя несколько лет Кулиев напишет: «О безымянные поэты моей древней земли, простые и великие! Я, знающий сегодня Данте и Шекспира, Пушкина и Мицкевича, удивленный и восхищенный, склоняю голову перед силой вашего таланта! Вы слагали свои песни, вися над пропастью, идя за деревянным плугом или ночью проезжая верхом через тесное ущелье, откуда едва виден синий клочок неба с крупными звездами. С тех пор прошли века, окутанные туманами, как горы в пасмурную ночь, и освещенные грозой. Но порывы вашей души, ее мужество и доброта дошли и до меня, и я как бы коснулся их рукой, словно стали кинжала старинной работы, до сих пор не потерявшей остроты и блеска. Вы еще раз убедили меня в том, как прекрасно хорошо сделанное дело, какое чудо — талант! Милые и неподкупные кудесники, вы высоко несли знамя души своего народа, ни разу не уронив его, и оно поныне развевается над нами». Из этого видно, как многому учился К. Кулиев у народного творчества, у народных творцов.

Некоторые особенности переживаний, настроений этих лет К. Кулиева отразила его любовная лирика, которая раскрывает ряд характерных оттенков этой сложной и важной темы, наводит на размышления о неизбывной красоте и ценности для человека этого чувства. Любимая поэту нужна, «как горы», «как мужество» — без нее жизнь безрадостна, немыслима.

Ты стала для меня и хлебом и розой
На нелегком моем пути.

(«В нелегкой жизни мы сошлись...».
Подстрочный перевод)

Художественная высота стихотворения прямо зависит от неподдельности переживаний поэта, его искренности в их выражении; глубина переживаний, неподдельность и искренность автора как бы «подсказывают» слова и образы для своего наиболее полного выражения. В этом нас лишний раз убеждают и лучшие стихотворения К. Кулиева из его интимной лирики.

Ты сказала мне «Не люблю» —
и мир
Стал мне тесен, как ножны
кинжалу.

(«Ты сказала, что не любишь...».
Подстрочный перевод)

Измена любимой причиняет поэту такую невыносимую боль, что в тягость становится собственное существование; накал чувства усиливает драматизм переживаний, одновременно возвышая и облагораживая его:

ностью восприняты поэтом, и все это вместе вписало
еще одни добрые строки в человеческую поэму о любви.

Не знал имен я твоего красивой,
Как будто бы на крыльях журавли,
Летя своей дорогой синей-синей,
Его из дальней дали принесли.

Я слышу легкий шорох крыльев птицы,
Едва лишь это имя назову,
А чуть поднимешь темные ресницы —
Лесных озер я вижу синеву.

Я б изваял из мрамора твой образ,
Поставил бы высоко на скале,
Ты прелестью застенчивой и доброй
Так родственна моей родной земле.

(«Песня». Перевод В. Звягинцевой)

Насколько неподдельно, сдержанно и сурово выражал поэт свое горе, настолько же непосредственно выплескивается из него выражение счастья. Цельность природы — один из самых светлых даров природы человеку, которую, быть может, можно воспитать в себе; стихотворения К. Кулиева ярко демонстрируют преимущества цельности и вселяют желание цельности.

Мысль о животворящей силе любви стара, как мир. И мотив возрождения человека к жизни с приходом любви вовсе не исключителен. Но стихотворения Кулиева, как и следует ожидать от поэзии, благодаря своей эмоциональности чувствуются остро.

Вечером выйду — издали кланяюсь
Белым горам, где ты родилась.
Поутру выйду из дому — кланяюсь
Тропам, где шла ты ребенком резвясь.

.
Благодарю я землю суровую,
Ночи, тебя охлаждавшие в зной,

Воду, что ты пила, родниковую,
Каждой былинке поклон мой земной.

(«Дочери гор». Перевод В. Звягинцевой)

Поэт, много повидавший на своем веку, испытывавший
тяжелые превратности судьбы, зажигает вечный огонь
в честь любви.

Пусть беда любая сторожит меня, угрожая,
Не ее я боюсь, нет, боюсь остаться без тебя!..

(«Пусть говорят...». Подстрочный перевод)

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Во второй половине 50-х годов К. Кулиев возвратился в Балкарию. Он занял заслуженное место в советской литературе; советские читатели быстро узнали и полюбили талантливого поэта. Уже в течение 1957—1959 годов выходит двухтомник избранных произведений на родном языке, сборники его стихотворений на русском языке: «Горы», «Земля и песня», «Я пришел с гор», «Хлеб и роза», «Мои соседи». К. Кулиева знакомят с русским читателем Н. Тихонов, М. Петровых, С. Липкин и другие. Поэт получает общественное признание. Он избирается депутатом Верховного Совета СССР, председателем Кабардино-Балкарского Комитета защиты мира. За плодотворную литературно-общественную деятельность награждается орденом Трудового Красного Знамени.

Начальные годы этого периода характерны главным образом тремя мощно звучащими мотивами: поэт пишет о радости встречи с родной землей; делится раздумьями о судьбах своего народа; приветствует родное тепло очага, утверждает идею его священной неприкосновенности, зовет к миру.

Облик родины и народа предстают перед ним как бы в новом свете; зрение и чувства, обостренные долгой разлукой, приносят поэту замечательной силы образы, ритмы:

частных по своему происхождению событий, она обретает у Кулиева масштабность, исполнена живой страсти; волнение поэта вызывает к себе истинное уважение; в них происходит удивительное превращение человеческих чувств — горькая тоска переплавляется в сердечный огонь:

Когда с обидой и печалью
Я жил на горестной земле,
Мне снился ты за дальней далью,
Цветок на каменной скале.

Чтоб перед пламенем согреться,
Вздувал я искорку в золе
И вновь к тебе тянулся сердцем,
Цветок на каменной скале.

Кровинкой рдея над туманом,
Ты, не взлелеянный в тепле,
Моим остался талисманом,
Цветок на каменной скале.

(Перевод Я. Козловского)

Выдающейся заслугой Кайсына Кулиева, поэта и гражданина, является создание произведений, где с большой художественной силой звучит протест против насилия над свободой, против войн, жестокости, прославляется гуманизм, социальное и национальное равенство, правда; в них заложено объединяющее людей начало. Почти каждая мысль Кулиева в этот период поднята на гребень общечеловеческой волны борьбы за разум и добро в любых масштабах, в большом и малом.

Вот поэт израненный пришел с войны. И

...матери, что так была нужна мне,
Я дома не нашел. Огонь погас
В отцовском очаге. Я сел на камни
Немые и заплакал. Был приказ.

Нет матери, соседей нет в селенье,
Вдали, в степях, мне близкие сердца.
И я себе казался в то мгновенье
Надгробьем над могилою отца.

Человек в немом молчании один среди немых камней... Живой человек — надгробие. Трудно объять всю художественную и общечеловеческую значимость этого трагического монумента. Кажется, что он так и остался недвижим навсегда. Память не подвластна человеку:

И снова иногда я каменею,
Как вспомню обезлюдевший аул.

(«Воспоминания».
Перевод С. Липкина)

Следы бедствия сохранила сама земля, она взывает к свету, разуму, к милосердию. Гнев поэта вырастает в мощный призыв к искоренению зла во всем мире:

Гляди, не бойся. Эти камни стали
От горя черными на всем пути.
Молчат, как будто от беды устали
И слово трудно им произнести.

А ты не камень. Плачь же! На колени
Стань пред камнями! Зарыдай в золе!
Пусть никогда разрушенных селений
Ничьи глаза не видят на земле.

(«В Хуламском ущелье».
Перевод С. Липкина)

Недаром в эти годы, как бы подводя итог раздумью о творчестве своего любимого поэта М. Ю. Лермонтова, Кайсын Кулиев написал знаменательные слова: «Он знал, что пепел сожженного жилья повсюду одинаково печально остывает и одинаково горько пахнет». К чему бы теперь поэт ни обратился, он видит всегда основы вещей.

В единоборстве добра и зла добро непобедимо. Свидетельством торжества добра и истины является у Кулиева не что иное, как само существование мира, существование жизни на земле, ибо зло есть враг всего живого, разумного, созидательного, и — победи зло, мир давно канул бы в мрак, а то он процветает, движется вперед. Зло — страшная сила, она нередко берет верх, но всегда лишь временно, потому что оно противоестественно: «...земля, покрывшись пеплом и золой, всеж остается прежним черноземом».

И кто ни угрожал бы мне войной,
Что б люди ни придумали,— я знаю:
Нет в мире сил сильнее земли родной,
Кусок которой я в руке сжимаю.

(«Сжимаю в пальцах...».)
Перевод Н. Гребнева)

Логика Кулиева, как всегда во всем высказанном им, тверда. Поэтому она вооружает защитников и сторонников добра самым сильным оружием — непоколебимой верой в конечную свою победу, верой, основанной на глубоком знании истоков победы, и развенчивает его врагов, доказав бесплодность их усилий, неминуемую обреченность темных сил. Этот неодолимый закон жизни поэт видит повсюду, сталкивается с ним на каждом шагу в самых простых и обычных явлениях, и его мысль постоянно развивается, разрастаясь вширь и глубь, дополняясь все новыми и новыми аргументами:

Солнце греет землю, красит небо,
Подступает к окнам белый сад.
Книги рядом с караваем хлеба
В доме на столе моем лежат.

Хлеб и книга. Скрыты в них недаром
Кровь и сок земли, где мы живем.
Их сжигало пламя всех пожаров,
Все владыки шли на них с мечом.

Хлеб и книга, вечные от века,
На столе лежат передо мной,
Подтверждая мудрость человека,
Бесконечность щедрости земной.

*(«Хлеб и книга».
Перевод Н. Гребнева)*

В Кайсыне Кулиеве самом видна мудрость землепашцев-«повелителей» земли, что во все времена «поцарски шествовали за плугами». Такие стихотворения возникают из истоков народной мудрости в сочетании ее с высокой идейно-эстетической культурой, стоящей на уровне с веком; они тоже питаются соком «земли, где мы живем». Кулиев прославляет созидание, любой труд, посредством которого каждый человек вносит лепту во всемирные закрома материальной и духовной пищи человечества, без которой ведь, в конечном счете, невозможна сама жизнь человечества. Труд в изображении Кулиева предстает во всех его многочисленных связях с внешним и внутренним миром человека, с нравственностью, психологией, счастьем, любовью, со всем мироощущением.

Если цените вы и январь и апрель,
Если хлеб выпекаете вы,
Если ночью качаете вы колыбель,
Если слышите шелест листвы,

Если женщиной вы очарованы так,
Что в снегах закипают ручьи,
Я дарю вам на счастье,

как верный кунак,
Белоснежную веточку алычи!

*(«Если цените вы...».
Перевод Я. Козловского)*

Его взор задерживается на труде каменотеса. Труд тяжелый — каменотесы пробивают гранит. «Гранит упорен». Но и каменотесы упорно делают свое дело: от

гранита летят искры. И тот, кто шлифует гранитный жернов, и тот, кто делает надгробный памятник из гранита, трудятся во имя жизни: они «знают оба — живым нужна мука, чтоб хлебы печь», но не менее важна память о мертвых, — человеческое общество преемственно, на том оно и держится. Кому не известно острое чувство трагичности ухода в небытие... Нередко оно овладевает и Кулиевым. Но и здесь у поэта свой, иной взгляд. Он идет не от жизни к смерти, а наоборот, смерти неизменно сопутствует жизнь «со смертью жизнь сплелась».

Оптимизм Кулиева не имеет ничего общего с легким отношением к жизни. Напротив, как и все остальное на свете, такое трагическое явление в жизни человека как смерть поэт переживает остро.

Знаю, дней моих близка граница,
А за ней — черед иных годин.
Время будет бесконечно длиться.
Только я — один, всегда один.

Нет, поймите боль мою глухую, —
Одному в земле сырой лежать:
С другом никогда не потолкую
И врага не встречу я опять!

(«Одиночество я ненавижу...».)
Перевод С. Липкина)

Тем не менее подобные стихотворения поэта, так беспощадно обнажающие роковой ход жизни, исполнены гуманности, которую не подрывают и такие, казалось бы, горькие строки:

Как быстротечен век, наш век недлинный,
Как нелегко осмыслить до конца,
Что нас переживет кувшин из глины,
Что грамм свинца сильнее храбреца.

На смену этим строкам приходят полные надежды, света мечты:

Но в старом доме, скованном морозом,
Где ветер воет, ставнями стуча,
Мы спим и видим: расцветают розы
И лепестки роняет алыча.

(«Мой сверстник, даже ты...».)
Перевод Н. Гребнева)

Стихотворения Кулиева пробуждают в человеке такое ценнейшее качество, как сознательное восприятие мира в противовес инерции механического течения жизни, воспитывают подлинный вкус к ней; сама горечь известной «быстротечности века», ее острота становятся у него средством призыва к людям уметь любить сполна жизнь, где есть «наши холмы», что «от снега вчера побелели», где можно «в сумерках... этой дорогой бродить, размышляя, без цели», «в дождь на чинары смотреть, удивляясь листве их зеленой», где для людей «горят эти кусты барбариса, одевшие склоны» («Разве всегда мне смотреть...»).

Они пробуждают жизненную энергию, мобилизуют к действию, в них страстно отвергается душевная лень, равнодушие, апатия — явления не редкие, заслоняющие от человека красоту бытия; перед такими стихами отступает мишура, блекнет все незначительное.

До конца понять возвышающую жизнь, человеческую душу, концепцию этих стихотворений, по достоинству оценить ее важность помогает ряд других стихотворений поэта: «Осень в Нальчике», «Иней», «Снежная ночь в Нальчике», «Я вернулся с гор» и др.

Поэту доставляет истинную радость вид только что построенного в его родном городе дома, в окнах которого «отражается» осенней «листвы перевозданная охра», кизилковый куст, схожий цветом с пастушьим костром; благодатная тишь разлита в мире и в душе поэта, прозрачный, безмятежный простор вокруг, простор для мыслей («Осень в Нальчике»). Бессчетный раз виденные и не раз в стихах воспетые картины вызывают вновь

восторженное удивление. В голосе поэта — чистота хрустального звона:

Ужели я, ужели я
В алмазной стороне?
Чегемское ущелье
Все в голубизне.

И близкие и дальние,
Деревья все подряд
Как будто бы хрустальные:
Качнешь — и зазвонят.

Поэт «тем счастлив именно»,

Что светел холод дня,
Что воротник от инея
Искрится у меня.

(«Иней». Перевод
Я. Козловского)

Он способен в зимнем ущелье увидеть «алмазную сторону», услышать хрустальный звон запорошенного инеем леса («Иней»), в рое снежинок рассмотреть «расцветшие ивы», что поэту «подарены буйством весны» («Снежная ночь в Нальчике»), взбираться по крутизне «с ветром рука об руку», ощущать себя «и солнцем и ливнем», вздымающим «листвы шатер», речною волною, горным склоном, облаченным в зеленую черкеску («Я вернулся с гор»).

Буйство душевной весны — в каждом эпитете, сравнении, интонациях; и осенние, и зимние краски одинаково солнечны, прозрачны.

Всепоглощающий мажор этих стихотворений, кажущийся на первый взгляд прямой противоположностью настроениям предыдущих, на самом деле раскрывает и дополняет их; это не резкие перемены во взглядах, настроениях поэта, не взаимоисключающие, а взаимопроникающие, взаимопритягивающие, взаимообъясняющие чувства, настроения, мотивы, темы. Они исходят из од-

ного корня — понимания основ вещей. Как в миноре первых нет пассивности, так пережлест радости во вторых не является беспечной праздностью, а это большой душевный праздник, который наступает в результате борьбы и победы на поле брани и ниве труда во имя жизни. А жизнь и вся поэзия Кулиева, те высоты, которые он достиг, являются свидетельством и результатом такой борьбы и победы.

Можно не знать поэтической биографии К. Кулиева, достаточно знать такие его стихотворения, как «К чинарам прямым и согнувшимся ивам...», «Не я ль ревел...», чтобы узнать характер его творчества.

Родство поэта и родины скреплено общностью их судеб. Он разделял праздники и тяготы родной земли. Он был свидетелем торжества отчизны, когда она зажигала веселые костры, и губельного опустошения, когда гасли ее лампы. Поэт, очарованный, приветствовал ее зыбки, воздавал честь ее священным могилам. И когда ему становилось очень тяжело, он опять обращался к родной земле... Стройные чинары и склонившиеся над волной ивы своим несуетным миром приносили ему утешение, и он «опять становился счастливым». И вместе с родной землей поэт уверенно шел навстречу новым зорям, новому встающему дню, кланялся вслед заходящему солнцу («К чинарам прямым и склонившимся ивам...»).

И никогда он не изменил этому союзу. Был верен ему, как воинской клятве, склонялся перед землей, как перед боевым знаменем родины, хотя она и бывала к нему не очень ласкова.

Не я ль ревел подранком туром
В твоём безбрежье бурь скал?
Не я ль в твоём заснежье хмуром
Голодным волком завывал?

То смертником в крови застылой
Лежал на снежной целине,

То ласточкой в степи унылой
Летел я с вестью о весне.

Но все ж я ни теперь, ни прежде
Тебя, земля моя, не клял,
И в час беды и в час надежды,
Как знамя, край твоей одежды
Я целовал.

(«Не я ль ревел...». Перевод Н. Гребнева)

Поэт бывал тверд, как скала. Но бывают такие беды, от которых и камню больно. Поэт услышал голос камня: «Право же, трудно и мне». Раны его скрыты от глаз людских. И раны поэта — тоже. Быть может, поэтому услышал он голос камня, постиг его язык.

«Вынес я все в трудный час»,—
Камня услышал я слово,
И по земле своей снова
Шел я, у камня учась.

*(«Право же, трудно и мне...».
Перевод С. Липкина)*

То спокойствие, которым дышат строки Кулиева, точнее, тот ровный покой, тот ровный пульс, что бьется в них, исполнены мужества и силы. Поэзия К. Кулиева, ее путь — это и путь становления мужества. Муза поэта возмужала давно — в войну и последующие годы, теперь она стала еще увереннее и отважнее. Поэт осознает это; он стремится определить свои жизненные и поэтические принципы:

Все было! Дни удач и дни невзгод.
Бывало трудно и легко идти.
Я видел радуги спокойный свод
И грозовую молнию в пути.

Я не попутчик тем, кто путь свой весь
Пройти мечтает в солнечных лучах,
Люблю я мир таким, какой он есть,—
С травой и заносами в горах.

.

Я знаю цену хлебу и вину,
Я рад грозе, и радуге я рад.
Я славлю мир: и осень и весну,
Его и нежный и суровый взгляд.

*(«Все было! Дни удач и дни
невзгод...». Перевод Н. Гребнева)*

Кулиев безбоязненно выносит на суд людской, суд
чести все свои помыслы.

Беспокойный поэт доставлял своему сердцу много
горестей. Не жалел его, не щадил, не холил, не лелеял.
Устремлялся в гущу событий, беря на себя ответствен-
ность за судьбы народа, родины.

Но все это он вспоминает не для того, чтобы опла-
тать трудную судьбу. Напротив,— чтобы утвердить свое
поэтическое и жизненное мироощущение: зачем быть
на земле, если не уметь постоять за ее раны; зачем хо-
дить по ней, если прятаться от ее ветров, то ласковых,
то морозных, не вдыхать полной грудью ее грозowego
воздуха, не любоваться ее цветами, которые после гро-
зы особенно красивы? Зачем быть с людьми, если ниче-
го не можешь, не умеешь дать им?

Зачем ты?

Не завидуй тем, кто неизменно
Мог беречь себя, всему назло,—
Если брошено в костер полено,
То оно должно давать тепло.

Жили мы — горели, не чадили,
Ну, а если было и у нас,
Что себя мы как-то пощадили,
Значит, мы не жили в этот час.

Поэт не оскудел, сердце его не обеднело оттого, что
он щедро дарил людям свои силы. Суровость не приту-
пила чувства прекрасного, восприятия мира, по-преж-
нему слышится «запах яблок, зреющих в ущелье, кле-

вера, парного молока». И он уверенно идет по крутым тропам и широким дорогам жизни:

Много нам осталось иль немного,
Но в горах и в поле голубом
Под ноги нам стелется дорога,
Мы идем, идем, пока живем!

Далеко не каждому поэту приходилось быть «всегда в кольце огня», попадать без передышки, как говорится, из огня — да в полымя. И далеко не всякий может сказать о себе, о своем сердце:

Все рыдали — мы с тобой рыдали.
Люди пели — пели мы с тобой.

Кулиев даже признается своему сердцу:

Ты бы испытало меньше вдвое
Горестей за свой короткий век,
Если бы не я владел тобою,
А спокойный, робкий человек.

(«Моему сердцу».)
Перевод Н. Гребнева)

Вероятно, чтобы быть хорошим поэтом, не обязательно непременно прожить трудную жизнь, постоянно подвергаться испытаниям. Но обязательно другое: быть с народом, когда они, эти испытания, все-таки приходят. Щади Кулиев себя от бед, обрушившихся на народ, береги свое сердце от волнений века, будь «спокойным, робким человеком», очевидно, не стал бы он таким поэтом, каким теперь является.

Для него важнее всего то, что его совесть чиста перед людьми, перед родиной, его поэзия — честная, правдивая, потому что без хулы и прикрас отражала действительность такую, какая она есть, «розы ее и репье», «мед и полынь, затишье и грозы».

Гражданская честность художника для Кулиева —

чувство святое, нерушимое. Он дорожит этим чувством, как ярый богомолец, преклоняется перед ним. Это — священный завет в жизни поэта и его поэзии,вольное или невольное отступление от которого грозит художнику высшей карой, что страшнее смертного приговора, это — отречением от него родной земли:

За все мои грехи и заблужденья,
Земля моя, не знал я до сих пор
Страшнее кары, чем твое презренье,
Страшнее, чем безмолвный твой укор.

Что может быть суровой и печальней,
Чем приговор земли, где жизнь прожил,
Где, словно совесть горцев, снег кристальный
И чисты камни дорогих могил.

(«За все мои грехи...».)
Перевод Н. Гребнева)

В самом деле, нравственный облик художника должен соответствовать чистоте народной совести, иначе какой же он художник: ведь призвание искусства — это быть совестью и честью народа!

Говорят, художник никогда не бывает доволен собой; с годами, с ростом мастерства это чувство обостряется. Наверное, это так — не очень самоуверенному человеку трудно поверить, что он создал нечто достойное внимания человечества. А другого мерила для искусства нет. Знакомо это чувство и Кулиеву. Но честность, верность жизни — одно из тех качеств поэзии, к которым К. Кулиев относится ревностно и которые принесут ему удовлетворение, как честно прожитая жизнь любого труженика, явившись, таким образом, немалой наградой и теперь и в неизбежный час отчета человека перед самим собой:

Не знаю, был ли хлеба я достоин,
Того, что ел всегда и ем сейчас,
Был чист ли я перед землей родною,
Где этот хлеб был выращен для нас.

ловека, его жизнь — путь к радости через всю печаль и боль; «людям нужна радость, как горам нужна высота их», она им необходима, «как небо, хлеб и дорога». И поэзия Кулиева как раз потому подчас и грустна, драматична, что поэт желает человеку радости и печалится над горестями, заслоняющими ее от людей. Этот вывод вытекает из всей поэзии Кулиева и более открыто отражен в таких стихотворениях, как «Я над раненым камнем...», «Чужой бедою жить». И ведь она, эта черта характера писателя, является одним из главных условий рождения большой, народной литературы.

У Кулиева есть стихотворения, в которых также содержится пожелание всяческого благоденствия, чистого неба для людей, и нет в них привычной суровости. Ему встретился человек, омраченный горем, — «чье лицо покрыто черной тенью». И поэт говорит, что, хотя их дороги тут же разошлись, быть может, они никогда больше не встретятся, он стал «старше на одну печаль...», а путник — «на одного богаче друга» («Ты скажи на милость...»). Он видит чистое, мирное небо — такое красивое, что «кажется», «небо постирали и, подсинив, повесили сушить». И поэту хорошо от мысли, что таким его увидят и его «потомки» («Когда глядишь сквозь листву ольхи...»). Заглядывая в будущее, обращаясь к потомкам, он желает им: как бы ни устроили они свою жизнь, «какое б оружие враги ни ковали», «пусть будут светлы ваши светлые дали, пусть горькое горе вам лица не застит» («Стихи, сказанные будущему»). Таковы стихотворения «Охотник волку в пасть...», «Молния» и т. д.

Однако, как ни странно, это далеко не самые лучшие стихотворения Кулиева; в некоторых из них даже имеет место декларативность, неубедительность («Ты скажи на милость...», «Охотник волку в пасть...»). Эти стихотворения напоминают читателю (лишь напоминают) о светлых началах, заложенных в человеке, как, ска-

жем, доброжелательность, сочувствие. Но, по сути, доброжелательность и иные идеи их пассивны. Они тронуты долей созерцательности, стороннего взгляда на явления, бездоказательностью. Другое дело — стихотворения, где показан сам образ счастья, счастливого человека или даже выражена грусть по поводу возможной потери счастья, как в приведенных выше стихотворениях: «Осень в Нальчике», «Иней», «Снежная ночь в Нальчике», «Разве всегда мне смотреть...», «Одиночество я ненавижу...», «Мой сверстник, даже ты...».

Лучшие произведения Кулиева те, которые кажутся наиболее суровыми. В них предстает перед нами человек стойкий, который если и гнется под ударами невзгод, но не ломается, готов к новым свершениям и подвигам. Эти стихотворения пронизаны ощущением подлинного — активного — добра и сочувствием к человеку. Они не только не ратуют за казенный оптимизм и сложную жизнь с преодолением бесконечных барьеров, тем более за аскетизм, — как раз напротив: представляют собой отрицание всего, что мешает человеку быть счастливым, отрицание всего неразумного; рождены из огромного жизнелюбия и для утверждения жизнелюбия. Об этом говорит почти все творчество поэта, но обращают внимание прямые высказывания поэта. Он бросает вызов даже «вечности», если она «каменная» — бездушная, холодная, безучастная.

Земля поглотит все. В ее утробе
Все канет, все исчезнет навсегда.
Лишь глыбы скал чернеют, как надгробья
Над тем, что погибает без следа.

А наши дни и вовсе быстротечны,
Но, как ни краток век, я не даю
В обмен на эту каменную вечность
Ни жизнь, ни песню бrenную свою.

(«Земля поглотит все...». Перевод Н. Гребнева)

Стоицизм Кулиева, не согбенная терпеливость, не покорность судьбе, а — борьба за радость. Добывание радости нередко сопряжено с жертвами. В том же стихотворении «Людям нужна радость!», где провозглашается гимн ей, поэт говорит: «Чтоб вырвать радость», люди «в боях погибают, хоть плачут матери после и ждут их дети»; он сам «был ранен в бою за радость».

Пожалуй, Кулиев — первый поэт, который войну назвал борьбой за радость, как будто по-бытовому просто, близко человеческому сердцу — и вместе с тем крупно, смело. И стоицизм необходим потому, что в мире «покоя нет»:

Покоя не было и нет в помине.
Вершит орел недобрый свой полет,
Снег, оползая, тает на вершине,
В низине ветром дуб столетний гнет.

Покоя нет. Луну закрыли тучи,
Шнур подожжен, взрывчатка скалы рвет.
Пчела, пораня грудь о куст колючий,
Ценою горькой добывает мед.

Покоя нет и не было от века:
Опять сверкает молния в горах,
И камень, словно сердце человека,
Сгорает, превращается во прах.

(«Покоя нет». Перевод Н. Гребнева)

На первый взгляд может показаться, что здесь звучит безысходность. На самом деле это глубоко трезвый взгляд на явления, исходящий также из понимания их основ. Это означает, в частности, и то, что «лишь мертвые не ведают тревог», потому что, увы, уже «не видят ничего они, не слышат»; только ушедшему из мира не дано печалиться и радоваться.

А мы с тобой не мертвецы, не боги.
Нас пламя жжет, и снова в путь зовет
Привычный клич заботы и тревоги.

(«Лишь мертвые не ведают тревог...».)
Перевод Н. Гребнева)

К решению темы Кулиев подходит с разных сторон, освещая ее с разных ракурсов, проникая в глубины человеческой психологии, изучая закономерности жизни («Белозубым мальчишкой...», «Всегда, мой друг, наглядна высота...», «Порой и туры чахнут и болеют...», «Путь мой был труднее...», «Гроза», «Был пахарем, поэтом и солдатом...» и др). И во всех его взглядах, ощущениях, выводах присутствует некая фундаментальность — и тогда, когда он провозглашает стойкость, и тогда, когда один за другим вскрывает ее истоки. Вот один из них.

Поэт убежден: горести и радости сменяются так же закономерно, как плач и смех ребенка, как зима и весна. Сад не будет вечно зеленым, как бы роскошно ни цвел он летом. Тот, кто мечтает пройти через жизнь, не зная тревог, при первом же ударе судьбы может сломаться. Но жизнь непременно улыбнется так же наверняка, как неизбежно стает снег. Так же как сад, теряющий свой пышный цвет, вновь одевает его, когда приходит весна («Дитя то плачет, то смеется...»). И благо, что есть улыбка, есть весна. Если помнить об этом, если верить весне, то можно выстоять в любой ураган. Стихотворение Кулиева «Качаешь ты грустно гнездо позабытое...» — одно из замечательных эстетических воплощений этой излюбленной идеи поэта.

Качаешь ты грустно гнездо позабытое,
Бьет тебя ветер, как будто клюкой.
Дерево, дерево, снегом покрытое,
Как ты стоишь в крутоверти такой?

Как выживаешь ты в пору студеную?
Все от колючего снега бело...—

удивленно спрашивает поэт. И дерево отвечает:

— Мысленно буйную шапку зеленую
Я надеваю, когда тяжело!

(«Качаешь ты грустно гнездо позабытое...».)
Перевод Я. Козловского)

Эти наблюдения его столь важны и нужны человеку, что поэт испытывает потребность еще и еще говорить о них, донести до читателя их непреложность. Ведь в постижении этих истин — сила и счастье самого Кулиева. Благодаря этому постижению он вышел ненадломленным из потрясений, благодаря ему мыслит и чувствует масштабно. И образ растет вглубь. Противоположные, казалось бы, качества созмещены в самом человеке, и они, оказываясь, вовсе не противоречивы. Напротив, их единство представляет собой человека в идеале: твердость характера не только не исключает мягкости, нежности, красоты человеческой души и поступков, наоборот, нежность так выигрывает рядом со стальной волей, в сочетании с ней.

На земле и солнечной и снежной
Не в соседстве ль камень с виноградом?
Твердость камня, винограда нежность
Разве у меня в душе не рядом?

На земле, и солнцем озаренной
И посеребренной снегопадом,
Обручен я с песнею, рожденной
От соседства камня с виноградом.

(«На земле и солнечной и снежной...».)
Перевод Н. Гребнева)

Стоицизм, терпение, воля также не только не отрицают человечности, доброты, а напротив: поборники разума и истины тогда способны нести миру действенное добро, человечность, участие, когда они стойкие, сильные духом. Наиболее полное, аккумулятивировавшее в себе философию многих стихотворений выражение нашла эта мысль — одна из ведущих мыслей Кулиева — в его великолепном стихотворении «Ценю я с нежностью...». Впрочем, великолепие, красота, притягательная сила стихотворения как раз в том и заключается, что в нем отражена достойнейшая мысль.

Ценю я с нежностью и строгостью
Ту доброту, как человек,
Ту доброту, что пред жестокостью
Вдруг не растает, словно снег.

Ценю я доброту суровую,
Всегда за правду на костер
Взойти пред временем готовую,
Жестокости наперекор!

(Перевод Я. Козловского)

Такова кулиевская суровость — полная обаяния, обаяния ума и мужества..

Таким образом, поэзия Кулиева сурова к легкому, безответственному отношению к жизни; к беспечности, равнодушию, мягкотелости. Она сурова к «потребительскому», «иждивенческому» миропониманию. Ее беспощадность направлена против безволия или слабоволия, всякого рода неверия в идеалы своего времени, лучшие идеалы человечества — добра, справедливости, гуманизма, правды — во всем: в жизни, литературе, искусстве. Ее суровость и беспощадность призывают общество мобилизовать все моральные и физические силы, весь нравственный опыт, все знания и достижения, накопленные человечеством за века, всю ее духовную культуру и возможности, в том числе поэзию, на добывание счастья человеку и человечеству, в чем и состоит задача и заслуга искусства; поэзия Кулиева более всего казнит бессмысленную жестокость, бесчеловечность, бездумный, небережливый взгляд на человека, обесценивание человеческой жизни. Сознание колоссального общественного долга искусства, служения его человечности, а следовательно, ответственности художника за его идейно-художественную высоту никогда не покидает Кулиева. В стихотворении «Бетховен» поэт говорит:

Он так писал, как будто
В ночи ловил руками облака,

Будто на снегах равнин зажигал
костры
И разносил все тюрьмы на свете.

(Подстрочный перевод)

Искусство может быть и грозным, может и благородством усмирить зло; поэт мечтает о такой силе искусства, о такой мощи его воздействия на людей, когда через его усилия стало бы возможно полное счастье на земле:

Стать бы мне, земля, высокой кручею,
Чтоб, щиту надежному под стать,
Огненную молнию гремучую
До твоей груди не допускать.

Стать бы мне, земля, грядюю горною,
Встретить бурю, не подавшись вспять,
Чтоб вовек ни днем, ни ночью черною
Ей твоих деревьев не ломать!

(«Стать бы мне...» Перевод Я. Козловского)

Поэзия Кулиева рождена борьбой народа за свое счастье, помогает народу осмыслить себя — свою силу, идеалы; ставит проблемы в жизни и искусстве, твердо и убедительно решает одни из них, ищет пути для решения других; она является живым ярким примером народности, гражданственности, гуманизма в поэзии. Его поэтическое завещание — идейно-эстетический, нравственный, этический идеал, редкий по цельности и красоте, завидный по жизненности, как нельзя лучше символизирует поэзию Кулиева.

Где зелень пробивается сквозь камень
И на плечи ложатся облака,
Мне дорог розы красноватый пламень
И лунный блеск холодного клинка.

Родную землю просьбой беспокою,
Я говорю ей тихо: — Не забудь,
Когда умру, ты мне своей рукою
Клинок и розу положи на грудь.

(«Клинок и роза».
Перевод Я. Козловского)

Роза у Кулиева не традиционная восточная роза, а эквивалент вечной красоты жизни; образ клинка — ре-минисценция из его же стихотворения-завещания, написанного несколько ранее, «Рисунок к заглавию».

Художник, нарисуй на книге моей
Клинок — мужества знак.
Художник, прошу, нарисуй
только клинок.

(Подстрочный перевод)

Поэзия Кулиева боевая, активная, целеустремленная; она полнокровная и жизнеутверждающая. В ней легковесному казенному бодрячеству противопоставлена рабочая, трудовая бодрость; она напряженная, в ней ощущаются налитые силой мускулы, как у того каменотеса, пробивающего гранит, в стихотворении поэта. Недаром Кулиев преклоняется перед мощью и целеустремленной простотой каменотеса, говоря языком современной научной философии, — создателя материальных и духовных ценностей. Разве не такая же сила, простая и мудрая, нужна поэту для создания истинной поэзии, ученому для великих открытий! Именно из такого мудрого и естественного отношения к жизни, преданной любви к своему делу, к родине рождены все великие творения, в которых заключена гранитная сила и вечность, все грандиозное, содеянное человеком за века. Разве не гранитная мощь и терпение заложено в самом человеческом разуме! И все это предстает у Кулиева в сочетании с мягкостью голоса, интонаций, красок, с бес-

суетностью, что составляет наиболее интересную, ярко выраженную индивидуальную особенность его поэзии, придает ей ее неуловимую поэтичность, лиризм.

* * *

Вряд ли есть поэт, у которого не было бы стихотворения о поэзии. Это и понятно. У художника, накопившего значительный опыт творческого труда, возникает потребность сформулировать свою эстетическую систему. Есть такое «традиционное» стихотворение и у Кулиева с традиционным же названием — «Поэзия». Однако содержание его не традиционно:

Ты — седая снежная вершина,
Облака пронзившая, как меч,
Паводка весеннего лавина,
Ручейка хохочущего речь.

Ты — победоносные знамена,
Реющие гордо на ветру,
Запах кукурузы испеченной,
Хлеб, что мать готовит поутру.

Ты — рывок солдат на поле боя,
На военной пасмурной заре,
Праздничное небо голубое,
Юношеский танец во дворе.

Стихотворение Кулиева, как и всякое лирическое произведение, не всеохватно. Оно не может вместить всего круга наблюдений писателя о поэзии. Здесь выражена главная мысль Кулиева — в поэзии нет запретных тем, нет и тем первостепенных, второстепенных, третьестепенных. Поэзии одинаково подвластны и необходимы темы патетические, проблемы нравственности, в ней должны найти место человеческое горе и повседневные радости бытия; в поэзии самое, казалось бы, малое может блеснуть ослепительно ярко, одарить счастьем.

В поэзии могут стоять рядом, объединившись, такие
вроде бы неблизкие мотивы, как

И зеленый лист, пахучий, липкий,
И печальный материнский зов.

Вместе живут «любимой ласковые руки» и «роди
мая земля»,

Где, валяясь у речной излуки,
В облака глядел мальчишкой я.

(Перевод Д. Голубкова)

Конечно, в периоды больших исторических событий в поэзии несравненно шире диапазон тем остро гражданского звучания и соответственно меньше места уделяется интимной лирике. Кулиев утверждает главное — в любых условиях нет тем взаимоисключающих, ибо в самые трудные времена жизнь остается жизнью.

Мысли поэтической декларации Кайсын Кулиев настойчиво развивает в своих статьях. «Как и многие из моих собратьев-поэтов,— пишет он,— я стою за разнообразие форм и направлений в поэзии, совершенно отвергаю узость в этом отношении и нервную веронетерпимость. Ведь «Я помню чудное мгновенье...» и «Скребицей чистил он коня...» — такие разные по манере письма стихи написаны Пушкиным. Лермонтов написал не только «Демона», но и «Казначейшу». А у нас нередко бывает так, что стремление поэта к разнообразию начинают именовать эклектикой и прочими страшными словами, и слабо вооруженные молодые поэты сдаются на милость «победителя».

Начало этой характерной черты лирики Кулиева — идейно-тематического многообразия — восходит еще к 30-м годам. Но тогда, конечно, это было лишь задатком, скорее эмоциональным стремлением, чем его практическим осуществлением.

В годы войны она сказала в основном в переплетении гневных и нежных интонаций, разяще суровых и солнечных красок.

Рядом со стихотворениями, как «Сегодня стих мой...», «Дедовский дом», «Баллада о погибшем друге», такие безмятежные строки, как стихотворение «Первый снег на фронте» (1942—1943):

Он простыней улегся тонкой,
И мы забыли все дела,
Как будто встретились
с сестренкой,
Как будто милая пришла.

Ефрейтор ком швырнул со смехом,
Поди, в снежки сыграть готов.
Ну что ж!
Мы дожили до снега,
Мы доживем и до цветов!

(Перевод Ю. Полухина)

И стихотворения о любви. И тогда же он через свой собственный опыт провозгласил и свидетельствовал: «тот, кто говорит, что на войне забывают про любовь свою, говорит неправду!..».

В сложнейшей атмосфере киргизского периода возникают такие стихи, как «Опять весна», «Весенние стихи», «Девушка ест виноград».

Стихотворение завершается горячей здравицей весне:

Опять пришла весна. Цветет каштан.
И первая запахла борозда.
Вернулись журавли из дальних стран,
Хлопочут возле старого гнезда.
И я, как прежде,
радуюсь весне.
Ищу себе все новых,
новых дел.
Пусть не вернется молодость ко мне,

Зато весь мир опять помолодел!
Он полон солнца,
запаха травы
И песен птиц в черешневом саду.

Стихотворение завершается горячей здравицей
весне:

Моя бы воля —
обнял бы весь свет!
Ты видишь —
на дворе опять весна!
(«Опять весна».)
Перевод Е. Елисеева)

Рядом с философскими мотивами, развернутыми в стихотворениях «Стихи, написанные в день рождения» (1947), «Жизнь» (1948), — такое радужное, кажущееся «легким», но плоть от плоти истинной поэзии стихотворение, как «Песня о детстве» (1948):

Детство, детство!
Отзовись,
Признавайся,
где ты?! —
А пред ним сияла высь,
Ширились рассветы,
Розовели гребни гор,
Дали голубели.
Был ему родной простор
Вместо колыбели.
Для подушек —
облака,
Тучи —
для пеленок.

(Перевод Е. Елисеева)

И стихотворения о любви, в которых воздается должная честь и слава ей, сугубо личным переживаниям человека. Теперь же идейно-тематическое многообразие творчества поэта несравненно шире, оно стало его ведущей тенденцией.

Стихотворения о всем богатстве мира имеют один

источник — любовь к социалистическому отечеству, любовь к жизни, земле. Как непринужден Кулиев в выборе тем, естественно демократичен:

О, яблоки, созревшие в Мухоле,
Ваш цвет похож на цвет снегов весной,
Когда рассвет на полчаса, не боле,
Их красит красным цветом с желтизной.

О, зрелые плоды земли балкарской,
Познавши щедрость солнца и дождей,
Людей вы одаряете по-царски:
Их, зрелых, превращаете в детей.

*(«О, яблоки, созревшие в Мухоле...».
Перевод Н. Гребнева)*

Женщина месит взошедшее тесто,
Льется зари или месяца свет...
Эта картина всем людям известна
Многие тысячи лет.

Хлеб выпекается древний, как слово,
Может, пшеничный, а может, ржаной.
Все мне поныне волшебю и ново
В этой картине родной.

*(«Женщина месит взошедшее тесто...».
Перевод Я. Козловского)*

И рядом строки яростно публицистические, как, скажем, стихотворение «Я мог бы сражаться в Мадриде...». Поэт готов «отдать все без остатка» за Мадрид и уверен, что в смертный час на испанской земле до него дошло бы благословенье древних вершин его Кавказа, ибо повсюду на земле «негасимый горит свет мужества, воли и братства».

Кулиев пишет: «...я хочу подчеркнуть, что для меня на первом месте стоят человечность и мужество, которые, по моему мнению, всегда были нужны людям».

Органичность восприятий поэта сообщает стихотворению убедительность, которая выражается в весомости слова, индивидуальности и широте поэтических образов; здесь патетика сочетается с лиризмом, вернее, лиризм пронизывает патетический голос.

Я мог бы сражаться в Мадриде
И пасть за Гренаду в бою.
И солнце, пылая в зените,
Смотрело б на рану мою.

Я мог бы сражаться в Мадриде
И грудью на камни упасть,
Чтоб только над Кордовой видеть
Свободного знамени власть.

(Перевод М. Дудина)

А к какой тематике причислить такое стихотворение, как «Тревога сердца озадачит...»?

Тревога сердца озадачит,
Во мне отзовется стихом,
А маленький мальчик все скачет
На палочке тонкой верхом.

Беспечному всаднику сладко
По улицам мчаться с утра.
Ах, первая в мире лошадка,
Кобылка лесного тавра!

(Перевод Я. Козловского)

Тот всадник, занятый очень важными мыслями, самыми дерзкими мечтами, смело «несется навстречу векам», нетерпеливо подхлестывая своего лучшего в мире «иноходца». И что бы на свете ни совершалось, какое бы ни было время, счастливое иль лихое, людям очень

нужно видеть, как мальчик восторженно «скачет на палочке тонкой верхом».

Какое из этих стихотворений имеет «большее» значение, какому из них отдать предпочтение в оценке творчества поэта? Выбора между ними нет. Не будь одного из них, мир поэта был бы соответственно много беднее.

Конечно, как бы ни стремился автор к разнообразию, если мысли и чувства его ограничены, скупы, жизненная философия его узка, эстетическое ощущение посредственное, чтобы не сказать — притупленное, результат бывает иной. Или он просто не находит тем, или это становится формальным, внешним разнообразием, где есть названия тем и нет их художественного воплощения.

У Кулиева душевное зрение острое, восприятие богатое. Поэтому он обыденные, рядовые, казалось бы, вещи, как и полагается художнику, поднимает на высоту искусства. Потому же Кулиев не «ищет» тем — они сами «находят» его.

Так, в стихотворении «Женщина месит взошедшее тесто...» поводом к рождению замысла явилась всего-навсего выпечка хлеба — занятие необходимое, но достаточно скучное. И уж во всяком случае обыденное и самое что ни на есть «банальное». Но строки Кулиева — поэзия, а не банальная истина. В том-то и причина этого превращения, что поэт именно в картине, которая «всем людям известна многие тысячи лет», увидел новое. Эти строки делают поэзией их мысль, тонкий лиризм; они пронизаны мягкой, как лунный свет, музыкой.

В стихотворении Кулиева привлекает то целомудренно-благоговейное отношение к хлебу, которое можно было бы назвать высоким «уважением». Строки Кулиева — это по-народному «земной поклон» хлебу. Поэт

думает о хлебе, об искусстве рук, его выпекающих, с нежностью и удивлением.

Так же содержательны, обаятельны в своей непосредственности и высшей простоте стихотворения «Я мог бы сражаться в Мадриде...», «Тревога сердца озадачит...».

У Кулиева не только творчество в целом тематически многообразно — многомерно каждое его стихотворение. В них зачастую и темы-то не назовешь, скорее всего, в каждом заключена целая тематика и проблематика, целый ряд мотивов, множество мыслей и чувств. Вследствие этого, между прочим, стихотворения Кулиева поддаются анализу чрезвычайно трудно; и при самом детальном анализе их всегда остается чувство неудовлетворенности, недосказанности.

В стихотворении «Я мог бы сражаться в Мадриде...» раскрываются темы интернациональной дружбы народов, свободы собственно Испании, где воцарился фашизм, всевластной и всеохватной жажды свободы и ничем не ограниченной, жертвенной борьбы за нее; поднимается на самый высокий уровень мужество и подвиг, для которого «чужбины нет»; слышится гордость за Кавказ — за его всемирно прославленное свободолюбие, который выступает здесь для угнетенного народа Испании символом непокорности и победы. В стихотворении видны ответственность и ручательство поэта как кавказца, горца за честь Кавказа, за верность его в дружбе; заметны личные симпатии поэта к Испании и т. д. И так чуть ли не в каждом стихотворении.

Размышления Кулиева, охватывая широкий круг вопросов, приводят к самым неожиданным, как правило, наиболее полным обобщениям. Так создается замечательный образ кинжала в одноименном стихотворении поэта. «Ты дорог мне и ненавистен, кавказский кованый кинжал» — так резко точен Кулиев в выражении своих идей. «Кавказский кованый» — поэт любит-

ся красотой, силой этого оружия, блестящим мастерством народа, его создателя. Но тем более горько поэту, потому что этот образец гордой красоты «добру служил и злу служил».

Сражал врага земли родимой,
Но и героя наповал
Рукой злодейской иль ревнивой
Ты, выхваченный, убивал.

В этом образе отражены и социальные противоречия, и исторически обусловленная характерная черта народов Кавказа тех времен, как чрезмерная воинственность; такие ценные нравственно-этические нормы, как защита чести, отвага, удаль, и идущие вразрез с ними бесчинства, жестокость, слепая злоба, насилие.

В стихотворении проводится также идея миролюбия народа, органического неприятия им всякой несправедливости, бичуется антинародная сущность государственного правления в дореволюционном Кавказе. Поэта более всего гневит и поражает беззаконие, жестокость и безнравственность, процветающая на этой основе неограниченная власть сильного над слабым. Отсюда и отталкивается поэтическая мысль Кулиева, рождается замысел стихотворения.

Но там, где рек кипят истоки,
Тебя ковавший уповал
На то, чтоб ты, судья жестокий,
Безвинного не убивал.

Но самому тебе учсть ли,
Сколь раз в минувшие века
Неволила, защитник чести,
Тебя бесчестная рука.

(Перевод Я. Козловского)

Исторические судьбы народа и осмысление через них народного характера были и остаются одними из любимых тем К. Кулиева. Правда, не все его стихотворения в этом ряде оригинальны, одинаково мастерски написаны; встречается иногда повторяемость некоторых мыслей и образов, как ночной мрак в ущелье, звон кинжалов, стук копыт, скачка абреков в теснине, убийство, крутой обрыв, бездыханный труп чьего-то сына принесли домой на черной бурке и т. п. И на всем этом лежит печать абстрактной туманности, нагроможденности — явления, совершенно чуждого Кулиеву («В ночном ущелье»). Однако это отдельные случаи. Другие же стихотворения Кулиева всегда выражают новую мысль; каждое новое стихотворение тематического цикла является как бы продолжением, дополнением предыдущих.

Горец, кинжал не носил я бесценный,
Сабли старинной не брал я в бои.
Но не судите меня за измену,
Предки мои,
Предки мои!

Так своеобразно начинается стихотворение Кулиева «Предки мои». Далеко вперед от своих предков ушел в культурном развитии, уровне материальной жизни современный поэт. Но бесценные душевные качества народа незаменимы: «...но без терпенья, без вашей отваги грош мне цена». Поэт опирается на них в жизни, в быту и в творчестве своем. Образ, выражающий эту мысль, как всегда у Кулиева, пластичный и емкий: народный характер, его жизненный опыт необходимы ему так, как плечо соратника, поддерживающее раненого в бою:

Я на своих опираюсь предтечей.
Так, зажимая рану свою,
Вы опирались друг другу на плечи
В смертном бою.

Связь с «предками», с народными традициями укрепляет связь поэта, человека вообще с родиной; корни, растающие в родную почву, становятся глубже, лучше питаются ее соками. Такие корни никакими силами, никакими стихиями не вырвать, не расшатать; даже не пересадить навсегда в другую дружественную почву. Все это отражено Кулиевым со свойственной ему эмоциональностью, предельной ясностью и простотой:

Видел я много не виданных вами
Стран и народов, неведомых вам.
Но, возвратясь, припадал я губами
К отчим краям!

(Перевод Н. Гребнева)

Кулиева привлекает народная деловитость, вкус к жизни, к труду и умелость в труде; то, что руки горца «дома возводили, превращенные в прах», они «огонь разводили в ледяных очагах» («Руки горца»).

Среди других лучших черт народного характера поэт замечает его незлобивость, отрешенность от суеты и величания, преемственность поколений в восприятии народного характера; понимает свое неотъемлемое родство с народом, говорит о народе с благодарностью за это наследство («У очага»).

Эти идеи, дополненные то широковещательной тревогой за судьбы мира, то конкретно бытовыми переживаниями человека, лежат в основе его стихотворного цикла о матери, о «матерях» («Где-то стонет женщина...», «Глаза матерей», «В мой легкий день...», «Кто-то песню ту же самую...», «Я вижу, мама...», «Памяти матери»). Кулиев показывает в них извечный свет материнской любви, ее ни с чем не сравнимое живительное тепло, великую миссию материнства, начала всех начал на земле,— эти благословенные нравственные дары природы человечеству. Безвозмездная до аскетизма

самоотдача матери детям — один из основных мотивов этих стихотворений Кулиева; они вызывают чувство священного поклонения матери.

Во всем этом также явственно ощущаются народные вообще и национально-народные в частности истоки мировосприятия поэта. Поклонение перед матерью — черта сугубо народная.

В ряду идейно-художественных достижений Кулиева этих лет обращает внимание разработка им темы войны.

Еще в годы войны Кулиевым неотвязно владела мысль «о тех, кто не вернется». Неумная боль за погибших теперь составляет основу всех его стихотворений о войне.

Пашут землю и сеют живые
В отгоревших степях.
Созревают хлеба молодые
На истлевших костях.

Под землю, где смерть нас сковала,
Ни зимы, ни весны...
Неужели и этого мало
Тем, кто хочет войны?

Мы когда-то пошли молодые
Под свинец и картечь,
Чтоб теперь вы не дали, живые,
Снова землю поджечь.

Медленно падает снег за окном,
Прыгают в санки мальчишки с разбегу.
Где вы, друзья, с кем уже не пройдем
Мы, как бывало, по первому снегу.

(«Друг мой, сегодня в горах снегопад...».)
Перевод Н. Гребнева)

Первый день зимы. По-особому оживленный. Поэт смотрит, как кружатся снежинки за окном. Любуется

детворой. Ничто не нарушает мирного течения дня. Но на душе у поэта нерадостно. Этот же нарядный снег ложится не только на улицы, ребячьи спины, горы. Он покрывает надмогильные плиты и холмы безымянных могил фронтовых друзей. Они никогда не увидят этого красивого зимнего дня, шумную ватагу ребят.

Память о войне на всем, казалось бы, и очень далеком от войны. Придорожный камень тоже сохранил ее следы. В памяти поэта возникают картины великого противостояния людей смерти: когда «беда» разразилась такая, что и камень «был контужен, обожжен и ранен», когда люди оказались крепче камня, а камни — «как смертники стояли, у человека стойкость переняв» («Раненый камень»).

И красивая лесная ягода калина также вдруг заставляет вспомнить суровые годы.

При виде калины в первую минуту поэта охватывает волнение, какое испытывает человек, который долго уезжал из родного дома и, вернувшись вновь, обнаруживает, что все как будто то же самое, но каждая незаметная прежде мелочь полна теперь какого-то непонятого глубокого смысла, переполняет сердце неизъяснимой нежностью.

Поздний пламень, подобный кармину,
Как я рад тебе, милый ты мой,
Привезли мне в подарок калину
Из Чегемского леса зимой.

Отсюда мысль поэта естественно перекинулась к детству, к тому времени, когда его взору впервые открылось это изумительное зрелище — багряная калина на белом снегу.

Словно вижу зарю на рассвете
Рядом с детством у края небес,
Пастушонка в дырявом бешмете
И мохнатые морды овец.

Летом грозди калина калила,
А зимой — позабыть ли могу? —
Под моими ногами калина
Багровела на белом снегу.

Однако снова перед мысленным взором его встают военные дороги, единоборство жизни со смертью.

Поэт, раненный, упал. Уходящее сознание на короткий миг выхватило из мирной жизни, по которой он так тогда тосковал, маленький, блеснувший, как счастье, «кусочек», — ему «показалось: не кровь, а калина заалела на белом снегу».

Воспоминания обрываются так же внезапно, как возникли. Поэт думает о том, какое это счастье — быть живым, какое счастье, что нет войны, а есть тепло родного очага.

Я у горского греюсь камина,
Красный отблеск на стеклах окна.
И на скатерти белой красна
Из Чегемского леса калина.

(«Калина». Перевод Я. Козловского)

О трагедии Великой Отечественной войны всем нам очень много и хорошо известно, и видевшим ее, и читавшим о ней. Но стихотворения Кулиева силой художественного воздействия открывают нам ее еще одну страшную сторону: поколения нашей страны, испытавшие ее, пожизненно приговорены помнить о ней.

И как помнить!

Вот плачет ребенок. Ничего удивительного. Но во что обходится это поэту, человеку, прошедшему войну!

«Растет ребенок плача» — есть пословица.
Но если плач ребенка слышу вдруг,
Как больно сердцу моему становится,
Как будто горы в трауре вокруг.

звучание его произведений никогда не заслоняет человеческой индивидуальности. Кайсын Кулиев создает поэзию, в которой живет и борется, дышит отважная мысль, стремящаяся узнать все и до конца. Ее беззаветная устремленность в переплетении быта и сердца, пожалуй, одно из важнейших качеств творчества Кулиева этих лет.

Стихотворение «Порою смысл...» — это отклик на одно из самых горестных событий: ушедшему из мира воздаются последние почести. Воспоминания, некрологи. Все в порядке вещей, к этому привыкли. Но поэт с болью думает:

Порою смысл в надгробной речи есть ли,
Зачем она умершему, к чему,
Душевных слов вы не успели если
Сказать за годы многие ему?

Нет, он не ополчается против прощания живых с умершим, даже против самой церемонии. Не это занимает поэта. Он взывает к людям: люди, будьте добрыми! Те теплые слова, которые так щедро дарите у гроба, не забудьте говорить друг другу при жизни. Они так необходимы живому.

Как часто не хватает добрых слов нам,
Они волшебны, добрые слова,
И в холода нас согревают, словно
Кизилловые пылкие дрова.

Ростков не даст до времени зерно вам,
Согреть земля должна его сперва.
Чтоб высечь пламя, и сердцам кремневым
Необходимы добрые слова.

(Перевод Я. Козловского)

Поэт, чьи стихотворения посвящались подвигу, мужеству, воле, поднимает на щит не что иное, как про-

стые «добрые слова». Ведь в конечном счете жизнь состоит не из войн, эпохальных потрясений. И омрачить ее способны не только вражды нашествия и тирания государственных масштабов.

Нечуткость, бездумность, претензия на роль третьей стороны во всех делах мирских, мещанское самодовольство, вера в свою непогрешимость, приносящие людям много горя, показаны со всей очевидностью и с чувством и тактом осуждены поэтом в обаятельном стихотворении «Следы ранений на камнях видны...»:

Следы ранений на камнях видны,
А в душах человеческих — сокрыты.
Своей не замечаем мы вины,
А в грех чужой стреляем, как джигиты.

Скалы холодной раненую грудь
Бинтуют предрассветные туманы.
Когда б ты смог мне в душу заглянуть,
Еще одной не наносил бы раны.

(Перевод Я. Козловского)

Особо чуток Кайсын Кулиев к мотиву содружества людей, человеческого общения; поэт сам всегда тянется к свету и теплу человеческому и всемерно утверждает их жизненную необходимость и плодотворность. Идеи и образы Кулиева соответственно взаимоутверждаются:

Кремень — кремень, и только.
Но, встретясь, два кремня
Становятся надолго —
Источником огня.

Что наше сердце, если
Другого рядом нет?
Сердца лишь только вместе
Несут огонь и свет.

Не только нежелание, но и неумение крепить содружество, индивидуализм, беспечность и бездушные зачастую оборачиваются против носителя этих черт, имеют тяжелые последствия для него. С неизменным для Кулиева чутьем постижения и открытия логики художественных образов раскрыта эта идея в стихотворении поэта «Спилили дерево...».

Когда дерево спилили и оно уже рухнуло, тогда только «речушка, что под ним струилась, впервые горе жизни поняла». Она «вспоминает» прошлое, когда дерево было живо, и чему она прежде не придавала значения. То время было полно радости и очарования. Ей нравилось, как «шептались» листья с ней при лунном свете», или когда они, «покрывшись желтизной», падали «и освежались, легкие, как дети, прохладой и влагою» ее волны. Проснувшись утром, на заре, и взглянув «сквозь листву на небосвод», она ликовала: «мир казался ей тогда зеленым — земля и небо, и она сама...». Теперь он потерял для нее свою привлекательность, жизнь — смысл; ее гнетет печаль по погибшему другу. За этим, видимо, следует тихое, медленное умирание.

Ей кажется, что путь ее бесцелен.
Всю ночь о мертвых листьях слезы льет.
Проснется на рассвете — где же зелень?
Как странен мир, как бледен небосвод!

И чахнет речка, будто от недуга,
Винит себя и плачет до сих пор:
Зачем она не защитила друга,
Не отвратила от него топор?

(Перевод С. Липкина)

Позднее раскаяние не только не помогает отчаянию, а усугубляет его. Но оно, раскаяние, неизбежно.

Следует сказать, впрочем, что философия неизбежности того или иного — диалектического — исхода дей-

ствия, ситуации является одной из интересных особенностей поэзии Кулиева. На ней основана неоспоримая правда, убедительность замысла произведения, которая, в свою очередь, благодаря своей верности и конкретности находит такое же неоспоримое, конкретное образное воплощение.

Морально-этические проблемы все более занимают воображение поэта, и здесь мы встречаем его интересные идейно-образные находки («Умеет выбрать истинный стрелок...», «Старинная заповедь», «Кто может выгоде в угоду...»). Можно предположить, что эта тематика имеет у поэта свое будущее.

Запавшие в душу Кулиеву идеи из любой области человеческой деятельности, как правило, значительные. А их в одном стихотворении не исчерпаешь; она у Кулиева от стихотворения к стихотворению заостряется, «ищет» своего конечного выражения. Таким в высшей степени локальным воплощением одного из любимых мотивов поэта во взаимоотношениях людей представляется стихотворение «Пора, несклонные к добру...».

Несклонные к добру и равнодушные — нечто противоестественное. О них принято говорить «каменные». В представлении поэта камень выше их — он «отзывается»: из него можно высечь искру.

У равнодушных, говорят,
Из камня вытесаны души,—

вспоминает поэт. И отвечает:

Неправда! Я кремьень беру,
На свет родиться искра рада.
О вы, несклонные к добру,
Вам у камней учиться надо!

(Перевод Я. Козловского)

Смелость кулиевского суда имеет под собой веское моральное основание. Испытания, через которые он

прошел, подействовали очищающе, и потому сердце его безошибочно улавливает всякую ущербность в нравственности и природу ее происхождения:

Не ел ты хлеба беды, которым
Кормила жизнь меня. Потому
Спесив ты. Через сердце твое
Никогда не проходило большое горе.

Черный хлеб испытаний и горе
Учат нас многому.
Я читал книгу горя до конца,
Глядя на погасшие очаги земли моей.

(Подстрочный перевод)

Отсюда, быть может, и та душевная щедрость, которая позволяет видеть многое из того, что видно далеко не всякому.

Вот он смотрит на ослепительный блеск молнии. Покорен ее красотой. Ему кажется, что и название ее сверкает, искрится — так она красива. Но ему приходит на память, что молния причиняет людям зло. Поэт страстно желает, чтобы она обходила людей и деревья, падая только в змеиные гнезда («Молния»).

Вот пролетает ветер. И у поэта возникает целая гамма ощущений, ассоциаций: ветер обретает и цвет, и запах, приносит вести и добрые, и тревожные; поэт улавливает волнения, страсти земли:

Ветер кажется белым-белым:
Он летел по снежным пределам.
Ветер кажется мне зеленым:
Он летел по лесистым склонам.

В нем — дыханье свежих платанов,
В нем — дыханье снежных становий,
В нем — дыханье древних туманов,
Запах меда и запах крови...

*(«Ветер кажется белым...». Перевод
С. Липкина)*

Вот порхает мотылек. И поэт вспоминает, что мотылек всегда летит на огонь. И сгорает. За это его принято считать неразумным. Но поэт находит в этом свойстве мотылька совершенно иной смысл. Мотылек летит к свету, потому что любит свет больше всего, больше жизни. Стремится к своей любви, хоть и гибнет. Поэт преклоняется перед самоотверженностью любви.

Я не оплачу жребий незавидный,
Сочувствовать тебе я не решусь,
К своей любви ты тянешься и гибнешь.
Чтоб стать таким, я у тебя учусь.

(«Мотылек». Перевод Н. Гребнева)

Мир для него непостижимо богат: и блеск звезд, и зимы и весны, и цветы и птицы, стихи и ручьи, гул моря, незнакомые лица людей — круговая панорама земли проплывает перед поэтом в своей стройной законченной красоте, удивляя и заставляя писать («Жить, удивляясь!»). Эта особенность кулиевского мировосприятия заметна во всей его поэзии. Поэт сам говорил об этом и прежде («Земля и песня»); ныне он еще раз подчеркивает:

Я работал не бессмертья ради,
Я писал, бывало, день-деньской.
На траву лугов, на небо глядя,
Удивляясь доброте людской.

Все, что пел, пел я поневоле,
Погибал я у земли в плену,
Видя золото пшеницы в поле
И подсолнечную желтизну.

Пел я, видя море в отдаленье
И скалу, подернутую мглой,

Потому что сам я на мгновенье
Становился морем и скалой.

*(«Кто б ты ни был, будь готов в
дорогу...». Перевод Н. Гребнева)*

Кайсын Кулиев стал поэтом — покоренный красотой и могуществом мира, задумавшись над его сложностью, озабоченный его несовершенством.

* * *

В ряду свойств поэзии, которые Кулиев ценит особо, стоит ее самобытность. Здесь он, как, впрочем, во всем, что касается поэзии, не приемлет никаких уступок, до гнева, до ярости отвергает стихотворство, лишенное индивидуальности. Об этом Кулиев настоятельно говорит в высказываниях о художественном творчестве и в своей поэзии (стихотворения «Пусть утес не достигает облака...», «По-разному идут круги в воде...» и др.).

Конечно, одно дело — провозглашать принципы, другое — реализовать их. Мы знаем слишком много примеров, когда автор декларирует высокие вещи, а поэтическая практика его далека от декларируемого. У Кулиева таких несоответствий не бывает; своеобразие его поэзии очевидно.

На чем оно основано, в чем выражается?

О большой любви и преданности Кулиева к родине сказано нами немало, и все-таки это чувство у него столь всеобъемлюще, что нити почти от всех проблем его поэзии сходятся здесь.

Своеобразие поэзии определяется не только индивидуальностью ее внешней формы. Оно начинается с мысли, следовательно — с видения поэта. А мысли и видение Кулиева, будь то будни балкарца или мировые проблемы, идут от любви к родине. От нее же — и обра-

зы Кулиева, насыщенные, дающие целостное представление о духовном облике народа и поэта.

Я знаю вкус меда и соли твоей,
Земля моя дорогая.
Снег твоих гор и травы степей
Я мял, к тебе припадаю.

Я кланяюсь горным твоим снегам
И травам твоей равнины,
Твоим плугам, к чьим лемехам
Прилипли комочки глины.

(«Я знаю вкус меда...». Перевод
Н. Гребнева)

Каждый, кто хоть раз познакомился с Кулиевым, узнает его в этих строках. Их своеобразие заключается в глубоко народном характере образов. Дело не в том, чтобы они были фольклорными или иными языковыми заимствованиями, интерпретациями, использованием народных речений и т. д., а дело — в самом духе народного отношения к земле, природе, к окружающему миру, к родине. Именно в народном восприятии родина начинается с земли. Образы «меда» и «соли», символизирующие радости и горести земные, человеческие, — также исконно народные.

Тема природы имеет принципиальное значение в идейно-художественной концепции поэта.

Кайсына с детства окружала на редкость живописная природа, семи-, десятилетним мальчиком он был не только наблюдателем природы, а жил в тесном общении с ней, детским сердцем испытывая радость от ее красоты. Вот как поэт сам пишет об этом: «Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе. В нем прежде всего поражает сочетание сурового и нежного: на граните скал, вершин которых не видно, растут тонкие березки и горные розы. Вбирая по пути множество

горных речушек, несет с ледников свои бурные воды река Чегем, в нее с головокругительной высоты бросаются водопады...

Я с детства видел бурное смешение красок: белые вершины, зеленые леса, луга, синее небо, желтые скалы, красные рябины на каменистых склонах и серые облака...» И рядом с этим: «Мальчиком я пас овец и коз на высокогорных пастбищах. Когда овцы, насытившись, ложились отдыхать, я, лежа, глядел на медленно плывущие над горами облака и незаметно засыпал. Нередко бывало так, что стадо уходило в туман, оставив меня спящего. Тогда я приходил к старшим, потеряв стадо, и горько плакал».

Так складывалось то большое содружество человека с окружающим миром, отличающее кулиевское понимание поэзии природы.

«У горцев есть поговорка, — пишет Кулиев, — «Какая земля, такая и трава». Поэт так же связан с родной землей. И об этом ему не говорить нельзя. Иначе и о себе он ничего не скажет». А землю свою Кулиев знает:

Здесь на скале, что затерялась в тучах,
Стоит березок хрупких белый ряд,
А на камнях, как буйволы, могучих
Тюльпаны, словно искорки, горят.

Для него тюльпаны, горящие не на газонах, а на могучих камнях, хрупкие березки, устроившиеся на скалах, не обычный предмет любования, а символ лучших человеческих качеств — мужества и нежности. Эти свойства дарят человеку горы, эти свойства приносит в дар людям поэт, с ними приходит к читателю.

И мужество и нежность облика
Слились в Балкарии родной,
Песни подвига и песни любви,
Как сестры, родились в моих горах.

Кавказская природа (и не только кавказская) живет у Кулиева не сама по себе. Природа — живая ткань его поэзии.

К твоей влажной траве, как к груди
матери,

Припаду я, земля моя,
Нагретые солнцем, омытые дождем
Камни твои я буду целовать.

Если б я поднялся на вершину

Дыхтау

И, надев бурку, бросился на Безенги,
Не погиб бы я, знаю, не погиб бы:
Горы родные уберегли бы меня.

(Подстрочный перевод)

Облака и снег, отраженные в голубых водах, роскошные альпийские луга, шершавый камень, омытый росой и дождями, накаленный солнцем, и вечно белая вершина Дыхтау, и аул внизу — все это дано в пространстве, далеко просматривается. Но они не фон, а как бы действующие лица.

Величественная природа Кавказа — арсенал образов, красок. Но не только. Это и сама жизнь. Она оказывает воздействие на духовный мир поэта, в ней ощущение устремленности ввысь, чистоты — всего, что свойственно поэзии, поэтической натуре Кулиева.

Эту особенность частично отмечала и критика. «Стихи балкарского поэта Кайсына Кулиева, — пишет В. Огнев, — живут на головокружительной высоте. Они не срываются с крутых тропок, их не сносят снежные обвалы. Это мужественные стихи, но в них живет и нежность цветов, что расцветают весной в Чегемском ущелье, едва успевает стаять снег... Природа вторгается в стихи Кулиева, переливается всеми голосами. Но это не созерцательные пейзажи. Голосами природы говорит

сама естественность, сама правда». Н. Тихонов отмечает в стихотворениях Кулиева «дыхание голубых бездн, неповторимых скал, высокого воздуха, полета стиховой свободы».

Дагестанский поэт Аткай заметил, что «...он с горами поступает так, как Айвазовский с морем. До него — никто и после него — никто не видел яростной, до девятого вала, силы гор».

Одно время в адрес Кулиева высказывались упреки в том, что-де он не в меру много пишет об орлах. Это было лет 10—15 назад, и доля справедливости в том была: тогда в части его стихотворений проскальзывали банальные моменты, повторения в использовании этого образа. Нынче слышатся голоса недовольства, что он пишет «все о горах да о природе». Здесь уже вины Кулиева нет, обвинение идет или от инерции, или от непонимания особенностей поэзии Кулиева, от нежелания или неумения вглядываться в глубь его художественного мышления.

Вот поэт пишет стихотворение «Горные вершины». И вершины для него «мерило всего высокого», они его «наставники седоглавые», как аксакалы в аулах — мудрые советники и неподкупные судьи. Вершины поэту «вдохнули в грудь неистребимую о восхождении мечту». И смысл стихотворения не только в том, что поэт сам утверждает приверженность к горам и их роль в его жизни, а в том, как он это делает. Стихотворение по мыслям и по форме поэтичное — хотите не хотите, его надо признать; не согласиться с утверждением поэта, не поверить им, не волноваться не можете:

Судимый горными вершинами,
Не поднимая грешных глаз,
Я перед горными вершинами
Краснел и каялся не раз.

Веков седыми старожиллами
Считаю я вершины гор,

И горько мне, когда вершинами
В мой адрес высказан укор.

Вблизи вершин вольнее дышится —
Я это знаю не один.
И откровеннее нам пишется
Вблизи вершин, вблизи вершин.

(Перевод Я. Козловского)

В самом деле, ведь каждая вершина, каждый выступ, осколок, каждый гладкий и шершавый, холодный и пригретый камень, каждый поворот русла своенравной реки и вид ее потока на каждом повороте, каждая тропинка на каждом метре, и водопады, и ручьи, и галька на дне их, скаты, поляны и пропасти — так бесчисленно многообразны и неповторимы в своей «возвышенной несхожести» их всегда «нерукотворные черты» «Одна скала над вековой кручею кругла, как щит прадедовских времен». Другая — остра, стоит «вровень с грозовой тучею».

А третья встала с головою гордою,
Дуб нацепив на каменную грудь,
Вдовой печальной замерла четвертая
И не подвластна времени ничуть.

(«Не схожи скалы меж собой...».)
Перевод Я. Козловского)

Горы могучи, грозны и суровы, они тверды, мужественны, мудро спокойны; горды, неприступны, но и нежны, ласковы; то гневны, то мягко иль горестно задумчивы. Так же многообразны идеи и образы Кулиева.

То в самые тяжелые часы, на грани смерти, когда «и снег был черный — так день этот был тяжел», поэт «смотрел на жизнь, как на белую гору», которая зовет к борьбе и победе, после которой можно взойти на нее — на вершины жизни («Я помню: и снег был черный...»).

То это образ тура, который также не раз появляется в стихотворениях поэта и каждый раз несет новые идеи. В стихотворении «Я люблю самоотверженность и смелость тура...» говорится о том, что тур, охраняя стадо, всегда стоит на виду — иначе не сможет вовремя заметить врага. Он знает, что открытый «пост» его опасный, но не бывает случая, чтобы животное его покинуло. Когда же смерть от пули становится неминуемой, он, подав сигнал тревоги для стада, бросается в пропасть вниз головой — на рога. И «жив остается». Наверное, не всегда. Пропать не жалуется. Но риск смелого при любом исходе — это подвиг. Поэт неоспоримо показывает и утверждает ценность таких нравственных качеств, как смелость, отвага, гордость, непримиримость с врагом.

Далее, горные тропинки вызывают у Кулиева жажду «рисовать» их, потому что «это мысли путников усталых... это матери моей печаль»; ему видится «горская задумчивость тропинок на вершинах и теснинах скал!», а не тропинки сами по себе. Они напоминают поэту еще ряд особенностей характера его народа: склонность к размышлениям, мягкий нрав, миролюбие и добродушие. Эти черты как бы написаны на облике балкарцев. Они проходят через всю поэзию К. Кулиева, обуславливая ее оригинальную мягкую сдержанность, лиричную задумчивость, как у тех тропинок, — особенности стихотворений поэта, так привлекающие в них, располагающие к раздумьям, будящие воображение. Эти черты составляют основной мотив интонаций и анализируемого стихотворения «Будь я живописцем...». В оригинале оно звучит так:

Мен суратчы болсам, къалай
Тюшюрю эдъм суртха
Бу джолчукъланы...

Аланы

Эслэйме къабыргъалада,

Кёк чинарланы ичиндэ,
Къой да, бёрю да алада
Жюрюй келдилё кёб кюндё.
Жарсыу мені анамы
Къалыб къалды бу жоллада,
Тургъаныча кюз ашхамны
Сабыр жарсыуу алада.

Камни гор для Кулиева — это книги горцев: «мысль народов других в древних книгах жила, в фолиантах хранились бывшего анналы», а горцы на камне оставили «свои письмена», «мудрость свою, и надежду, и горе», в камне «столетия свой язык обрели» («Камень»).

Когда поэт после всего, что было сказано им об образе горы, вновь пишет стихотворение «Разговор с горой», он опять говорит нечто новое: «...и века, что прошли над тобой, над моей головой не спеша проплывают». Поэт впитывает в себя все народное, живущее в веках.

Как и многие другие принципы, наблюдения и убеждения, названную здесь особенность своей поэзии Кулиев в 60-е годы синтезирует, и эти строки, исключительной силы и выразительности, достойны поклонения:

Любой навет заранее приемлю,
Но про меня, когда мой час пробьёт,
Сказать, что не любил родную землю,
Едва ль на ум кому-нибудь придет.

Кто скажет, что в разлуке мне не снились
Родимых гор снега и ледники,
Что я не видел, как потоки бились
И глыбы скал дробились у реки!

Что я на землю не глядел влюбленно,
Не озирал родимые края
Так, словно на ее пологих склонах
В малинниках горела кровь моя!

(«Любой навет заранее приемлю...».)
Перевод Н. Гребнева)

У немалого числа поэтов мы читаем клятвенные заверения в любви к родине. А верить им по их декларациям нет никакой возможности. Не потому, наверное, что у них нет патриотических чувств, а потому, что взгляд у них поверхностный, — следовательно, таковы же восприятия и ассоциации. Для одних из них слово «народ» — модное слово, для других, добросовестно уверенных в своей любви к народу, он, увы, еще не разгаданная загадка. И от этого появляется посредственность в искусстве.

У Кулиева любовь к народу — это чувство, обогащающее поэта, которое, став поэзией, обогащает нас, тот же народ, который питает мышление поэта. Он никогда не клянется в своих чувствах, но что ни стихотворение, то сгусток народного чувства и его живой облик, внутренний мир:

Тучи клубятся, по склонам кочуя,
Белые горы, вы дороги мне.
Белое утро, проснувшись, хочу я
Белые горы видеть в окне.

Чувству сердечному я покоряюсь,
В Мекку ходивших понять не могу.
Любящий родину, я поклоняюсь
Горным вершинам в белом снегу.

(«Тучи клубятся...». Перевод
Я. Козловского)

И снова горы, вершины, тучи, снег. Даже идея его не нова для Кулиева. Но стихотворение совершенно новое. То есть хотя идея и известная, но не копировочно та: личными чувствами поэта, его глубоко личными переживаниями она поднята еще на одну вершину; за внешней простотой стихотворения стоит высокая и твердая, как те горы, система мировоззрения поэта, эс-

тетический вкус и тонкий слух — чувство меры в отборе красок, звуков. Образы, вызывающие множество чувств, находятся в сложном взаимодействии и служат ясности мыслей и стиха, в противовес тем представлениям о «богатстве» и «новизне» образов, когда неясность мысли для самого автора приводит к туманности, запутанности ее выражения, вычурности языка.

Еще более чутко интерпретирована эта идея в стихотворении «Каждому ее цветку...». При жизни радуешься каждому ее (родной земли.— Н. Б.) цветку, спешишь приветствовать каждый ее рассвет, а когда умрешь, войдешь в эту свою дорогую землю. Поэт никогда не будет тяготиться тем, что каждый день смотрит на одно и то же небо над этой землей, ходит по одним и тем же дорогам ее. Но главное — пусть в его книгах останется ее красота, которую поэт не сможет взять с собой в могилу.

Это одно из тех многих стихотворений Кулиева, которое наиболее проигрывает в прозаическом пересказе, пожалуй, и в художественном переводе, и с замечательной силой звучит в оригинале. Хочется его привести не только по ходу анализа стиля Кулиева, но и для того, чтобы пишущим и читающим на балкаро-карачаевском языке было бы наглядно видно значение в поэзии глубокого, искреннего, а потому всегда оригинального чувства и его соответствующей музыкальной организации.

Хар гокка хансына суююне бараса,
Ашыгъа хар тангына салам берирге.
Саулугъунгда, анга къууана, тураса,
Елсѣнг да, кирликсе бу сыйлы жеринге.
Башында кѣгюне кюн сайын къараргъа
Жолларында айланыргъа да эринмѣм
Китабларымда турсун ёлсѣм, къабыргъа
Алыб кеталмаз ариулугъу жеримі!..

(«Хар гокка хасына суююне...»)

Стихотворение цементируют последняя строка первой строфы, две последние строки второй строфы и 12-сложный стих, ритм которого поддерживает в данном случае искренность и убедительность высказываний поэта.

Одним из наиболее заметных свойств поэзии Кулиева этих лет становится лаконичность, мастерство композиции.

В стихотворении «На ветру меня ломало...» поэт говорит о мужестве и стойкости. И это — строки без единого лишнего, или невеского, или с приблизительным значением слова.

На ветру меня ломало,
Был я слабою ветлой.
Но стоял и я, бывало,
Твердокаменной скалой.
Ахнет гром иль грянет выстрел —
Гнулся я, как все стволы.
А бывало: грянет выстрел
Или гром — и только искры
Отлетают от скалы.

(Перевод Н. Гребнева)

Ветер, ветла, скала, гром, выстрел, стволы — состав слов, который условно назовем первым лексическим рядом, вызывает у поэта ассоциации с жизненными, психологическими явлениями, из чего рождается и сам замысел стихотворения. Затем, во взаимодействии с другим соответствующим лексическим составом, они преобразуются в поэтические символы, в иносказательной форме воплощающие замысел автора. На ветру человека «ломало». Это, конечно, очень зрительный и очень сильный образ. Этот и другие глаголы — ахнет, грянет, отлетают, — показывающие неожиданность, резкость, крепость, силу действия и противодействия человека, служат наиболее полной, точной обрисовке ха-

Чакъгъан талдан эсе жумушакъ болуб,
Жюрегимі къолума алыб келдім,
Жылла салгъан окъ ызларындан толү
Къая болуб, жёл тюбюнде скоелдім.
Кёб кюнде жёлле урдула, талмайын,
Башым была буз да, боран да ётдю.
Жумушакъ тал терек болуб къалмайын,
Къая да болургъа жашау юйретді.

Есть ли какие-либо особые новшества в технике этого стихотворения? Пожалуй, нет. В чем же его достоинство? В идеях и той конструкции, которая как нельзя лучше воплощает идею.

Говорят о стихе «традиционном» и «новаторском», «классическом» и «новом»; завязываются дискуссии о том, какой из них лучше. Одни отстаивают только «классический» стих и ругают «модерн». Другие скусают от традиционного стиха и восхищаются любой ломаной строкой иль астрофическим стихом, любим «вывернутым» словом, лишь бы они были не «традиционными».

Неизменного ничего нет. Развитие форм искусства в сторону многообразия, отживания, забвения чего-то — неизбежно; поиску нужен, полезен и эксперимент. Немало внес нового в балкарскую поэзию и К. Кулиев.

Но в любом случае плохи и неверны крайние, взаимоисключающие точки зрения на «классический» и «новый» стих. Хорош тот стих, посредством которого наиболее впечатляюще, полно выражена масштабная, веская общечеловеческая идея.

Одна из таких идей, которыми богата поэзия Кулиева, положена им в основу стихотворения «Издrevле люди...»:

Издrevле люди в страхе и смятенъе
Рычанъе тигра слышали вдали
И радовались, слыша птичье пенье,
Когда по рощам вечером брели.

Огромный зверь неистовствует, злится
Уже не первый раз, не первый год,
Но слышат люди: маленькая птица
На ветке в роще радостно поет.

(Перевод Н. Гребнева)

В стихотворении с достоверностью показана неизбежность торжества прекрасного вопреки чудовищной силе и живучести зла. Своеобразие и обаяние стихотворения создается за счет совмещения таких вселенских понятий, как «люди», человечество, «мир», огромная протяженность действия во времени — «издревле» — с бытовыми понятиями и картинами (рычание тигра, роща, радость, вечер, ветка, маленькая птица, ее пение и т. п.), и первые раскрываются посредством последних. Они ближе человеческому сердцу, осязателее, вследствие чего вызывают конкретные представления, предохраняют стихотворение от абстрактного, «бестелесного» витийства.

Большую идейно-эстетическую роль играют контрастные образы. Собственно, стихотворение начинается с них, на них строится его композиция — огромный зверь и маленькая птица и др. В каждой строфе — по одному контрастному противопоставлению, в которых замысел осуществляется с замечательной логической последовательностью. В первой строфе: рычание тигра, страх, смятение — и птичье пенье, радость. Во второй строфе: все это продолжается, живет, но зло, неистовствующее, всегда агрессивное, не только не пресекло песню, но, напротив, заключительные аккорды стихотворения завершаются этой песней.

Использование контрастных образов — еще одна из отличительных черт стиля Кулиева. «Мед и полынь», «затишие и грозы», «камень и виноград», «клинок и роза» и т. п. совмещают в себе много компонентов образной системы поэта. Прежде всего они как бы дают про-

стор для воспроизведения идей человека, мыслящего масштабно. Эмоциональность, лиричность, бесспорная воспринимаемость и другие непреложные черты истинной поэзии в стихотворениях Кулиева во многом исходят от этих образов. Они никогда не становятся у поэта украшательством, не приводят к формализму: они порождены взглядом Кулиева на жизнь, сложившимся из его личных наблюдений над ней, над окружающим миром («Все было! Дни удач и дни невзгод!..», «Не я ль ревел...», «Мой сверстник, даже ты...», «Дитя то плачет, то смеется...», «Моему сердцу», «Был пахарем, поэтом и солдатом...» и многие другие.) Эти образы связаны с неколебимой верой поэта в процветание всего лучшего на земле. Он-то знает, что

Когда бы горцам, молодым и старым,
Уменья верить не было дано,
Нас ветром, как труху гнилой чинары,
С чужой землей смешало бы давно.

Когда лишились хлеба мы и песни,
Когда мы скалы на плечах несли,
Нас тяжесть горя придавила б, если
Нам солнце не мерещилось вдали.

(«Когда бы горцам, молодым и старым...».
Перевод Н. Гребнева)

И вера сбылась, взошло солнце над горцами.

Об органичности контрастных и иных образов внешней среды в поэзии Кулиева свидетельствует и то обстоятельство, что, при всей видимой их немногочисленности, не наблюдается однообразия стиля или повторения. Они, за редким, быть может, исключением, в каждом новом стихотворении выступают свежими тропами, выражают новые мысли, чувства, ощущения.

Ливнем ли ты была, моя жизнь,
Ливнем перевалившим через зеленые холмы,
Напоившим жаждавшие дождя хлеба,
Омывшим подсолнух желтый?

Мы знали о большой, особой кулиевской любви к жизни, об искренности, неподдельности его самовыражения; душевная щедрость поэта также была видна во всей его поэзии. Здесь впервые знакомимся с новым его высказыванием на этот счет: человек должен быть «лишь собой» — первородным, неподдельным в поведении, общественной жизни, характере, деяниях. Разве это не высший нравственно-этический принцип в жизни общества, который еще предстоит достигнуть?

Первородны образы стихотворения. Иносказания — дождь, что, перевалив через зеленеющие нагорья, напоил пашни; спокойный снегопад, что ложится на озими и радует детей; зеленые чинары, чья тень так же необходима людям, — символизирующие значение и смысл поэзии, щедрость творчества поэта, сами по себе лишь полдела. Вырванные из контекста, как видим, они и не выглядят неожиданными, скорее, наоборот. Эмоционально-эстетическая и смысловая новизна, привлекательность, какими они видятся в стихотворении, обретаются в общей системе поэтики Кулиева. 10-сложный стих совместно с парной рифмой (аа бб) и системой гласных рисуют полноту самоотдачи поэта жизни — слышится стремительность, широта, энергия чувств. Динамичность безупречная.

От начала строки к концу звук усиливается, высота его, а вместе с этим энергия стиха возрастает. Первый слог, если даже он ударный, — слабый. Последующий ударный слог от предыдущего безударного отталкивается «рывком», и ударный гласный, а также идущий за ним согласный звук произносится протяжно. Сакъ-жаун' му-у-у-э' дй-и-и-нг-нг' сё-е-е-н-н-жа-шау' ў-у-у-м-м, / Кё-ге' рё-е-е-тур' гья-а-а-н-н-сырт-ла' да-а-а-н-н-ау', ў-у-у-б, / Суу-ке' рё-е-е-к-са-бан-ла' ны-ы-ы-жи-бит' ге-е-е-н-н, / Чёб' лё-е-е-у-у-баш-ла' ры-ы-ы-н-н-да-жуу' ў-у-б-ёт' ге-е-е-н-н?

Последняя строфа, представляющая собой логиче-

ское завершение и концентрацию мысли, еще отчетливее раскрывает характер поэтического письма К. Кулиева. Значительную изобразительную функцию выполняют здесь повторы (три — двукратных повтора, один — трехкратный), которые и каждый сам по себе усиливает идеи автора и еще большую выразительность придают, вместе взятые:

Чем хочешь будь, чем хочешь будь,— *оставайся* жизнью!
До последнего дня колышущейся — звучащей *оставайся*.
Колышущейся — звучащей, как зеленые чинары, реки.
Щедрой, щедрой *оставайся*, как они.

Интересно расположение повторов. В последовательности их перехода и соединения друг с другом отражена последовательность движения мысли, что дополнительно сообщает ей правдивость, весомость. Повторение глагола «оставайся», проходящее через всю строфу, поддерживает и усиливает ее эмоциональный накал.

Слово «шуулдай» по своей звуковой конструкции удивительно точно, зрительно передает явление, которое оно обозначает, — колыхание, волнение с характерным шумовым сопровождением хлебов, деревьев, моря, течения горной реки и т. п. Однако слово — само по себе обычное и часто встречающееся в поэзии. В стихотворении Кулиева оно очень к месту, хорошо выполняет свою роль. Происходит это именно благодаря повтору; не будь повтора, рассчитанный на создание этим словом образ был бы недалек от банальности.

Выразительное значение повторов, кроме их лексического обозначения, проявляется и в ритмике стиха:

Не́-да' бо́-о-о-л-л' не́-да' бо́-о-о-л-л-жа-шау' ла́-а-а-
-й-й'/ къа́-а-а-л-л!/А' хы́-ы-ы-р-р-кюн' нгé-е-е-де' рí-и-
-и-шуу-ул' да́-а-а-й-й' къа́-а-а-л-л, /Шуу-ул'/ да́-а-а-й-
-й-кék-чи-нар' ла́-а-а-суу' ла́-а-а-ча-а-а.

Чо́-март' ла́-а-а-й-й-чо́-март' ла́-а-а-й-й' къа́-а-л-л-а'
ла́-а-а-ча-а-а!

О громадном значении в поэзии ритма, звуковой оснащенности, о необходимости чрезвычайно требовательного и осторожного обращения с ней и эстетической чуткости Кулиева говорит еще одна деталь в стихотворении.

Между идеями и образами Кулиева существует прямая и обратная связь. Идеи его всегда находятся в орбите извечного и бессмертного. Это, так сказать, ось его поэзии, вокруг которой концентрируется все остальное. И, с одной стороны,—идеи поэта наталкивают его на образы, с другой — образы, предметы, явления, представшие перед поэтом, всей диалектикой своего существования на земле, со дня зарождения по сей день, приводят его к идеям, то есть «открывают» ему эти идеи.

От прохладных этих виноградин
Снова становлюсь я озорным —
Мальчиком, не видевшим развалин,
Не вдыхавшим ядовитый дым.

Может статься, предок мой с любовью
Так же брал налившуюся гроздь.
Сколько с той поры воды и крови
В землю виноградника влилось!

Виноград не стал другим нисколько,
Хоть на склонах и вершинах гор
Множество пожаров бушевало
И мелькало молний с этих пор.

Но лоза из — нужных и ненужных —
Всех огней, метавшихся вокруг,
Приняла лишь пламя полдней южных
И тепло трудолюбивых рук.

(«Гроздь винограда». Перевод
Н. Гребнева)

Одно из самых поэтических, как всегда многопланово содержательных стихотворений Кулиева возникло, конечно, от случайного появления перед взглядом поэта грозди винограда. Она же стала одним из средств воплощения замысла, основным образом.

Благодаря возвышенности, громадной важности идей — утверждения извечности и бессмертия созидательного, разумного, доброго в мире, от самого Светила до труда человека, — образ грозди поднимается до уровня величия идей. В свою очередь, идеи запечатлеваются в душе и сознании такими величественными, неоспоримыми благодаря нарисованному поэтом образу грозди винограда.

С постижения Кулиевым извечного и бессмертного, то есть извечности и бессмертия света, добра, правды, человеческого разума, нравственных, морально-этических ценностей, общенародной, общечеловеческой материальной и духовной культуры, говоря языком Кулиева — «хлеба и книги», началось обретение путей для высокохудожественного отражения этих идей. В этом заключается причина достижения Кулиевым выдающихся поэтических высот, в том числе самобытность его поэзии.

В плане всего сказанного о стиле и индивидуальности Кулиева интересно его стихотворение «По-разному идут круги в воде...».

Истинная поэзия не может не быть своеобразной, потому что мир, что рождает и питает поэзию, беспредельно многообразен, многозвучен, многокрасочен, не говоря уже о национальной многогранности, утверждает поэт, и само это стихотворение, его поэтическая ткань, является лучшим тому свидетельством.

Поэтические образы, которые поэт использует для провозглашения индивидуальности в поэзии, сами замечательно своеобразны и неожиданны:

По-разному идут круги в воде,
Ущелья вторят слову разным гулом,
Огонь в печах, хоть он огонь везде,
По-своему горит во всех аулах.

Попробуйте оспорить, опровергнуть такой довод!

Отчетливо выраженное чувство собственного достоинства и глубокое понимание истоков поэзии дают возможность Кулиеву всегда быть самим собой, что более всего дорого ему самому и, конечно, для литературы вообще. Об этом Кулиев снова говорит с той же самобытностью и неоспоримой доказательностью:

Напев мой, стих мой, плох ты иль хорош,
По-своему будь смелым или робким,
А хочешь быть похожим — будь похож
На эти скалы и на эти тропки.

Тебя забвенье ждет иль ждет успех —
Будь схож не с чьим-то изреченным словом,
А с деревом, что выросло для всех,
Не потеряв себя в краю суровом.

(Перевод Н. Гребнева)

Не имеет индивидуальности, стало быть, не писатель тот, кто, не умея видеть мир своими глазами, точнее, своим сердцем, стоя далеко от жизни, пытается создать поэзию из чьего-то «изреченного слова». Поэзия должна быть содержательной и самобытной, как бесконечно разнообразны «скалы и тропки», степи и дороги — все содержание жизни на родине всякого писателя, исчерпать которое никому, ни одному самому гениальному художнику, не дано; она должна быть первородной и естественной, как «дерево, что выросло для всех, не потеряв себя в краю суровом».

Все эти высокие качества, провозглашаемые и отстаиваемые Кулиевым, мы видели в его поэзии, которая «выросла для всех», не потеряв себя ни в суровых невгодах, ни в огромном потоке литературы.

После выхода (1964) знаменательной в творчестве Кайсына Кулиева книги «Раненый камень» прошло десятилетие. За это время им написаны три поэтические книги («Мир дому твоему», «Кизилковый ответ» и «Книга земли», вышедшая в 1972 году).

Каждая из них, взятая отдельно, и все, охваченные вместе, отличаются цельностью и вместе составляют целостную картину последнего периода творческого облика поэта. Целостность — резко выраженная индивидуальная черта поэзии Кулиева.

Новые книги Кулиева еще раз подтверждают вывод о том, что его «Раненый камень» действительно в известной мере был итоговым для определенного отрезка творчества и биографии поэта. В то же время тот мыслительный процесс, духовная биография продолжают оставаться основополагающими в формировании нового в сегодняшнем Кулиева, почвой для его восхождения. При всей известной значительности предыдущей поэзии Кулиева, как был бы неполон творческий облик поэта без сегодняшней его поэзии! На первой странице первой книги Кулиева, начинающей новый этап его творчества, «Мир дому твоему», читаем ничем, казалось бы, не примечательное стихотворение:

Где бы ты ни жил — в горах ли, у моря,
Ты мне брат, коль тебе дорога
Вся земля, если святы все взгорья,
Все низины, луга и стога.

На каком бы ни пел ты наречьи,
Все равно ты и брат мне и друг,
Если ценишь ты труд человеческий,
Доброту человеческих рук.

Кем бы ни был ты: черным иль белым,
У каких бы ты ни жил дорог,
Ты мне брат, если словом иль делом
В час нелегкий кому-то помог.

Ты — мне брат, ты любимее брата,
Если грудь твою давит и жжет
Боль за всех, кто ушел без возврата,
И тревога за всех, кто живет!

*(«Где бы ты ни жил — в горах ли,
у моря...». Перевод Н. Гребнева)*

Стихотворение достаточно традиционно как содержанием поэтического ощущения, так и образными средствами, символикой. Для чего же оно теперь понадобилось Кулиеву, зачем оно написано? И только после прочтения не одной этой книги («Мир дому твоему», 1966), стихотворение настойчиво возвращает нас к себе — вдруг проявляется вся его значимость для автора.

Из содержания всех книг становится ясно, что вся земля, без каких-либо границ, дорога Кулиеву, «все взгорья, все низины, луга и стога» воистину «святы» для него. Это один всеохватывающий, ведущий мотив его поэзии этих лет, существо нового поэтического бытия Кулиева.

Именно эта мысль питает и остальные линии поэзии Кулиева: возвеличение человеческого труда от малого до великого и нравственная оценка этого труда как «доброты человеческих рук», личное, пристрастное отношение к труду каждого человека.

«Словом иль делом в час нелегкий кому-то помочь», быть опорой, поддержкой — еще один мотив, наполняющий творчество этих лет.

И «боль за всех, кто ушел без возврата, и тревога за всех, кто живет» — одна из главных забот нынешней поэзии Кулиева.

Правда, само процитированное стихотворение как отдельное поэтическое произведение от этого преобразенного взгляда на него декларативности не теряет, в художественности не выигрывает, но становится объ-

ясным его (и не только в нем одном дело — формулировочных стихов у Кулиева не так мало, чтобы не обратить на них внимания и чтобы они не сыграли своей роли в читательском восприятии) возникновение: видимо, у поэта, очень привязанного к своим «святыням», очень преданного им, появляется время от времени потребность прямо высказать свои позиции. То ли из опасения быть не понятым до конца, то ли из неудовлетворенности изображенным.

Никому не ведомо, будет ли поэт еще говорить об этих мотивах и как он это сделает. Не грозит ли при этом ему повторение? Но ясно одно: эти мысли так сложны, сфера действия одних из них так широка, других — так тонка и Кулиев так ими захвачен, что удовлетворенности высказанным, ощущения завершенности «задуманного» тут, по всей вероятности, никогда не будет.

Эти нити были у Кулиева и раньше. Они составляли основу его мировоззрения, но отразились в творчестве иначе, чем сейчас. В одних случаях прямолинейно и, как теперь увидим, недостаточно полно, в других — скорее оказывали влияние на характер его поэзии, чем сами ясно выражались в ней.

Это темы любви к Земле-планете, особая оценка труда человека и желания помочь людям в их трудный час, быть полезным им. Другие линии выражались более четко и прямо. Это боль за «ушедших без возврата». И наиболее редким в его предыдущей поэзии был мотив «тревоги за живущих».

Прежде всего при общем взгляде на поэзию Кулиева этих лет бросается в глаза и представляется очень интересным то, что суровая его муза стала много мягче, «потеплела», стала психологически многогранней. Нет, человеколюбие, участие всегда были ее жизнью, но выступали они, как мы помним, в довольно жесткой форме.

Теперь, как и можно было ожидать, в поэзии Кулиева получает продолжение тематика, помещенная, так сказать, на последних страницах «Раненого камня». Это внимание к морально-эстетическим проблемам, из которых складывается повседневное взаимоотношение людей, человека и общества, формируются характеры, нравственность. Они на первый взгляд кажутся «малыми», «домашними», и тем опасней невнимание к ним для общества.

«Я обидел человека, люди...», — восклицает поэт и уже одним этим обращает внимание людей к страдающему, вызывает сочувствие, пробуждает лучшие порывы души, поступки. Защита человека, призыв к благородству, предостережение от безнравственного шага звучит в этом чистейшем раскаянии:

Я забыл про все, я был жестоким,
Это злое слово оброня,
Горных речек чистые потоки,
Вы не пойте песен для меня.

(«Я обидел человека, люди...».)
Перевод Н. Гребнева)

Узреть неведомую жизнь человеческого сердца, вызвать участие к нему, воспитать человеколюбие было во все времена труднейшим уделом лучших художников и величайшим нравственным их достижением. К. Кулиев делает это достойно.

Большая боль не вопиет,
Печаль всегда немногословна.
В горах безмолвно тает снег,
Пересыхает пруд безмолвно.

Большая боль не криклива никогда,
Печаль не терпит жалоб длинных,

Безмолвна и суха беда,
Как горлышки пустых кувшинов.

(«Большая боль не вопиет...».
Перевод Н. Гребнева)

Идя по тропе людских печалей, Кулиев все пристальной всматривается в их природу и обнаруживает еще одно горькое, на первый взгляд странное, но, к великой жалости, пока еще закономерное явление в обществе.

Я стал нередко думать, став старее,
О том, что жизнь вершит неправый суд,
Что умирают лучшие скорее,
Что лучшие себя не берегут.

Мне кажется, к достойным время строже,
Судьба наносит больше им обид,
Людей, которыми гордиться может,
Растрчивает мир и не щадит.

(«В дождь». Перевод Н. Гребнева)

Что ж, лучшие и достойные часто уходят раньше, потому что у них больше болит сердце, а сберечь их ни они сами, ни мир действительно еще не научились: далеко не всегда лучшие и достойные наделены железной волей.

Встречается нередко и обратное явление. Это — стремление услужить сильному. И ему поэт дает достойную отповедь:

В помощи нуждается ль утес?
Без подпорок выдержит он бурю.
Подопри жердиной абрикос,
Видишь, небо снова брови хмурит.

(«В помощи нуждается ль утес...».
Перевод Н. Гребнева)

«Сытым сладость хлеба не сладка». «Для чего прохлада родника тем, кто не устал и пить не хочет!» При этом Кулиев напоминает своим собратьям по перу: «Сильным раб, а не защитник нужен. Если ты поэт, так защити тех, кто слаб, кто беден, кто недужен». Очень интересна параллель к этой своей мысли, взятая из самого закона природы, как естество человека:

— Солнце, нас сначала ты согрей! —
Говорили каменные скалы.
— Нет, трава на склонах вас слабей,
Надо мне траву согреть сначала!

Молча камень на заре просил:
— Ты меня согрей скорее, небо!
— Погоди, у поля меньше сил,
Меньше сил у тех, кто жаждет хлеба.

(«Солнце, нас сначала ты согрей!..».)
Перевод Н. Гребнева)

Добавить к этому нечего: хочешь зваться человеком — будь им! Правда, это очень нелегко, для этого нужно иметь свое естество, как у солнца, врожденное, и воспитанное так, что и последнее становится уже врожденным. Иначе этот человек ненадежен — ведь мы знаем, как нередко в зависимости от обстоятельств меняются не только отдельные поступки, а сама природа человека. Знаком нам один из давних, самых отвратительных недугов, распространенный среди сытых и счастливых, — душевное ожирение, глухота. Об этом тревожится поэт, предостерегает в стихотворении «Когда одолевает нас беда...». Под тяжестью беды «достойными нам оставаться трудно».

Но если счастье озаряет нас,
Достойным оставаться трудно тоже,
Нам кажется порой в счастливый час,
Что рядом с нами шар земной ничтожен.

От счастья так нетрудно опьянеть.
Оно вина сильнее нам очи застит...
Жизнь, дай мне силу горе одолеть,
Дай силу сдюжить испытанье счастьем!

(Перевод Н. Гребнева)

Оставайтесь человеком! Счастье и человечность — рядом. Это прекрасно! Нет лучшей доли на земле. Все в ваших руках.

Ведь и впрямь:

Все — дело рук людских: они куют и пашут,
Они и ранят нас, и раны лечат наши.

Есть на свете «руки палачей и руки мастеров».
Руки строят города и разрушают их.

Есть руки, что плетут кому-то сеть умело,
И те, что создают «Полтаву» и «Отелло».

Выбирайте, воля ваша!.. Но ясно, что это не просто добрые или злые руки. У них другие названия: достойные и презренные. Ведь дело в этом: убийца не хочет, чтобы его называли убийцей, палач выходит из себя, когда его называют палачом, интриган взбешен, услышав о себе такое слово: они делают свои презренные дела, закрыв глаза и убежденные, что если их глаза прикрыты, то и мир ничего не видит; надо, чтобы все люди знали свои подлинные имена. В этом разоблачении лжи, утверждении подлинного заслуга поэзии, художников. Когда руки, что «плетут кому-то сеть умело», поставлены рядом с теми, что создают «Полтаву» и «Отелло», «цветы растят», лечат раны, «весной бросают семена» в землю, все становится на свое место, интриган не может не увидеть свое лицо, на что он годен, на что тратит свои усилия! Это полный крах: прожитая жизнь — пустая.

Идеи добропорядочности венчают великолепное стихотворение Кулиева «На мир смотрите добрыми глазами...»:

На мир смотрите добрыми глазами,
Чтоб добрым было слово, добрым труд.
Пусть дураки сочтут вас дураками,
Злодеи малодушными сочтут.

Нам, людям, лишь добро приносит счастье,
Добро — оно сильнее зла всегда:
Погибнет в яме волк с кровавой пастью,
Пожар погасят ветер и вода.

Пусть у глупца спокойней жизнь и краше,
Пусть в жизни сам злодей не знает зла,
Добро вовеки будет богом нашим,
Ему — молитва наша и хвала.

(Перевод Н. Гребнева)

Мало сказать, что стихотворение вселяет веру и силу в сторонников добра, но доставляет истинное наслаждение, удовлетворение своей большой, неотвратимой правдой. Взяты крайне предельные позиции в характеристике и оценке добра и зла, подборник зла зажат в этих тисках так, что у него нет возможности шевельнуться. «Погибнет в яме волк с кровавой пастью» — ведь такова реальная участь этого хищника, добро «вовеки будет нашим богом», ему — «молитва наша и хвала». Какая силища в образе и с какой высоты все увидено!

И это потому, что поэт смотрит на мир согласно своей концепции — «добрыми глазами», чем характерна вся его поэзия. А успех его поэзии и биография, победившая много зла, как нельзя лучше свидетельствуют о правде этой его концепции и заповеди.

Этот взгляд, как будет видно дальше, определяет и все характерные особенности поэзии сегодняшнего Кулиева.

Одной из важнейших, до конца осознанных и осмысленных поэтом, целенаправленных забот Кулиева в предыдущий период, как мы знаем, было внушить людям трезвое отношение к жизни, понимание, восприятие ее светотеней, готовность встретить ее неожиданные, неизбежные драматические повороты.

Это наименее исследованная и наиболее невосприимчивая область человеческой психологии. Ведь каждый человек всегда вольно или невольно, открыто или подспудно мечтает о счастье, ждет радости, готовится увидеть хорошее и никак и нисколько не готовит себя к плохому, к восприятию теневых сторон жизни, не ожидает и не хочет мириться с горем. Поэзия Кулиева тех лет открыто сказала людям о необходимости такого приятия. Это одна из благороднейших и необходимых людям черт поэзии Кулиева.

Мы были не всегда внимательны к такого рода науке, тогда казалось, многие говорят это и сейчас, что Кулиев повторяется, — так многочисленны и настойчивы были стихи его на эту тему. И только теперь, когда появились стихи, продолжающие ее в ином духе, написанные в ином ключе, стало понятно упорство поэта. Подобных стихотворений сейчас у него немного («Пусть пролетит за веком век...», «Песня скалолаза», «Скалы в лунном свете», «Наверно, и чинара не мечтает...», «Песня ночи»). Мы читаем и думаем: «Это мы уже знаем». И только в каждом отдельном стихотворении метафора у Кулиева, как всегда, интересна, эстетически убедительна, впечатляюща.

Не сможет человек, сумев
 Понять, насколько он невечен,
 Смириться с тем, что жизнь дерев
 Длиннее жизни человечей.

.....

Жизнь без печалей и забот
Нам, людям, может только сниться...
Покуда дерево растет,
На землю тень его ложится.

(«Пусть пролетит за веком век...».)
Перевод Н. Гребнева)

Или:

И до начала дня,
И до скончанья лет
На сердце у меня
И тень, и лунный свет,
И скалы в лунном свете.

(«Скалы в лунном свете».)
Перевод Н. Гребнева)

И теперь же, спустя много лет после долгой и настойчивой разработки мотива, многих вариантов его эстетического воплощения, Кулиев делает формулировочное заключение:

Жизнь уготовит нам с тобою
Немного меду, много соли,
Чем раньше это мы усвоим,
Тем испытаем меньше боли.

(«Жизнь уготовит нам с тобою...».)
Перевод Н. Гребнева)

Это, как видим, тот вывод, который мы делали для себя из тематического цикла «Раненого камня». Мысль-исследование, мысль-заключение, очень ценное, вылившееся в манере знаменитых афоризмов, сейчас производит на нас сильное впечатление. Но не будь нашего предыдущего идейно-эстетического багажа в этой области, мы наверняка просто прошли бы мимо него. В этом — углубленном художественном осмыслении,

многогранной интерпретации идеи — одна из характерных особенностей, сильных сторон, причин действительности поэзии Кулиева.

Как заключительные аккорды прежней стройной самобытной системы стоицизма, жизненной закалки, чем, главным образом, примечателен, приковал к себе внимание знаменитый «Раненый камень» поэта, прозвучали теперь его стихотворения «Наверно, и чинара не мечтает...», «Бубен», «Терпенье».

Пусть ствол растет, пусть не избегнут ветви
Ни злобы зим, ни весен доброты,
Чем больше снега, чем суровой ветры,
Тем на горах красивее цветы.

*(«Наверно, и чинара не мечтает...».
Перевод Н. Гребнева)*

Это прекрасно, конечно! И по философии своей, и по эстетике.

В твой дом несправедливость и беда
Пусть не найдут дороги никогда.

Но если их тебе не избежать,
Умей терпеть, а это значит ждать.

Терпи, как пуля, сжатая в стволе,
Терпи, как порох, спрятанный в земле.

Как терпят боль от топора чинары,
Как терпит камень молота удары.

Есть мужество боренья, но не менее
Благословенно мужество терпенья.

Терпенье — вот, мой друг,
Оружие героя,
Коль выбито из рук
Оружие другое.

(«Терпенье». Перевод Н. Гребнева)

А это уже не просто суммарный, констатирующий итог идеи, а ее дополненное, обогащенное, объясненное заключение. Мы знали внешнюю, видимую, уже проявленную форму, образ кулиевского стоицизма, знали ее нравственные, общественные, социальные и индивидуально-личностные основы, но психологического, душевного механизма, «оружия», как теперь поясняет Кулиев, мы не знали. Да, великое это оружие — уметь ждать! Такое необходимое и такое малоизвестное людям. И уж совсем не осмысленное и самое малоусвоенное, зачастую вовсе не доступное. Да, это — мужество. И пока — только удел мужественных. Остальным предстоит его изучать, осваивать. Ждать, готовый к действию, сохраняя и накапливая душевные силы, сдерживая стон, «как терпят боль от топора чинары», отвердев и онемев от горя, «как терпит камень молота удары».

Если поэт подвел итоги своей концепции стоицизма, в его поэзии теперь ее почти не видно, он стал мягким, не значит ли это, что Кулиев отказывается, отрекается от нее или идет на компромисс? Нет, она принимает другие формы, точнее, на ее почве вырастают его новые идеи, которыми отличается нынешняя поэзия Кулиева.

Изменилась биография, человек поставлен в иные условия. Тогда, когда писал «Раненый камень», Кулиев был на положении победителя, живущего в самые первые дни после победы, когда о трудностях «обычного» времени пока еще не думают. У него в то время были прошлое, состоявшее из сплошных испытаний, и праздничные дни настоящего. Как и положено, в стихи воплотились сначала праздники. Затем он осмыслял свой опыт прошлого, «историю» своей победы. Через эту историю он уже тогда обращался в будущее (как надлежит настоящей поэзии, как он и сейчас это делает), но происходило это, как бы минуя настоящее. Опыта сегодняшнего у него тогда было еще мало. Проблемы

настоящего, с которым он успел столкнуться в буднях того малого отрезка времени, поэт и отразил, как уже говорилось, на последних страницах «Раненого камня».

Он, будучи победителем, свои идеи, принципы победно провозглашал; победа лежала через суровую жизнь, жесткие идеи и принципы, потому он был суров. И при всей идейно-художественной убедительности, эмоциональности, общечеловеческом смысле поэзии Кулиева того времени на его образе лежал некоторый отенок исключительности, героизма. И если, читая те стихи, мы только восхищались стойкостью героя, теперь он становится нам ближе, идеи его «демократичней», психологически многогранней, многие из них доступны для простых, обыкновенных людей, вселяют бодрость, быть может, в самых незащищенных. Высота идеалов и есть высота поэзии Кулиева. Гуманизм и тогда был его характерным свойством, но теперь его поэзия проникнута необыкновенной человеческой теплотой. Тогда гуманизм утверждался через стоицизм, теперь — через простое (да далеко не простое!) участие, сочувствие человеку. И это идет не как иначе, а от его сурового опыта. Увидев проблемы, заботы, радости и печали повседневности, он взглянул на них через все пережитое, его вчерашний опыт стал опытом сегодняшним — все доброе и недоброе, должное и противоестественное он оценил в этом свете. Из этого сложилась его особая отзывчивость, его любовь и ненависть к добру и злу. Вот с этого и начинается сегодняшний Кулиев.

Понятно, что «я» поэта — это обобщенное явление. Однако у Кулиева и здесь произошли перемены. Прежде все его поэтические высказывания происходили только посредством своего «я», пожалуй, за исключением тех случаев, когда он обращался к своему народу или друзьям. Он теперь часто говорит, обращаясь непосредственно к «тебе», к читателю, человеку, вовлекает его в орбиту идей как их участника, а не наблю-

дателя, который принимает идеи поэта, глядя на его опыт, его поступки. Читатель становится в таких произведениях не вторым, а первым лицом. О себе поэт говорит там, где это касается его восприимчивости, оценок явлений и его свидетельства — опыта.

Горе забудется, чудо свершится,
Сбудется то, что покуда лишь снится.
Все еще впереди,
Все еще впереди,
Иди!

(«Все еще впереди».
Перевод Н. Гребнева)

И где-то за бугром
утихнет, грянув гром,
не бойся!

Не ведаю когда,
но верь: твоя беда
исчезнет навсегда,
не бойся!

(«Песенка надежды».
Перевод Н. Гребнева).

Не верь, что все потеряно, мой брат,
все минет, если ты не виноват.
Пусть кажется тебе, что все дома
перед тобой закрыли двери дружно,
и пусть тебе нашептывает тьма,
что правды нет, что прах людская дружба,—
не верь: всему на свете свой черед,
хоть свет померкнул, но и тьма пройдет! —

(«Стихи, сказанные другу в трудный
его день». Перевод Н. Гребнева)

пишет теперь поэт, и вера его имеет почти магическую силу. Не правда ли, какая большая разница между этим и прежним Кулиевым! Но это не противоречие —

здесь тоже нужна стойкость: терпение, умение ждать. Но их преимущество в том, что перспектива в них всегда только положительная и она логически, жизненно обоснованная, психологически оправданная. Поэтому и теперь не внушает людям, выражаясь его словами, «розовое легкомыслие», а вселяет бодрость духа, душевное равновесие, веру в светлое, способность отвести отчаяние. И как же ему не верить, когда

...оттого, что вся жизнь — ожиданье,
Сеется хлеб и возводятся зданья,

Созданы лучшие в мире творенья,
Не оттого ли, что жизнь — предвкушенье
Всего, что еще впереди,
Иди!

Кулиев теперь так мягок, что не только не пренебрегает «тихими» человеческими горестями как «маленькими», но, помимо явных, опосредствованных душевных переживаний, вникает в самые необъяснимые его минорные состояния, и стихи становятся вровень с самой высокой поэзией.

«Приходит грусть почти всегда нечаянно. Себя к ней не готовит человек». Такие, далеко не «бойцовские», вещи близки теперь Кулиеву.

Сегодняшняя грусть моя — посланница
Под вешним ливнем мокнущих высот,
Но скоро дождь пройдет, а грусть останется,
Иль будет литься дождь, а грусть пройдет.

Что ж, можно и погрузить — ведь люди мы, а не оловянные солдаты, но только и это надо знать, принять осознанно: тогда естественное состояние не будет драматизировано, отягчено. Таким образом, оставаясь чрезвычайно мягким, человеческим, Кулиев и здесь не бывает безоружным. И трудно удержаться от восхищения перед этим его новым «оружием» самопознания.

Покуда непогода так упорствует,
Давай не будем тратить время зря.
А будем слушать дождь, как старцы горские,
Друг другу лишних слов не говоря.

(«Приходит грусть почти всегда нечаянно...».
Перевод Н. Гребнева)

Это наука постигать жизнь, осознавать ее сложность через ее простую, но такую малопроницательную оболочку, сквозь ее обманчивую простоту; наука мыслить, всматриваться, вслушиваться, ощущать мир. Вот вам и грусть!.. Вот что такое «обыкновенная» грусть в руках художника.

Вообще в своем исследовании человека Кулиев теперь универсален.

Чего самому человеку хотелось бы в принципе от жизни? И вот «Просьба» Кулиева с таким символическим названием и многоговорящим содержанием. Вряд ли он выразил не всеобщее, хотя и не осознанное нами положение.

Дай мне, дерево, свое цветенье,
Научи терпенью своему.
Подари, скала, свое уменье
Проявлять презренье ко всему.

Ничего такого не умея,
Я терплю порой немало зла.
Дерево, завидую тебе я.
И тебе завидую, скала.

Ветер, дай свободу мне навеки,
Подарите, птицы, высоту,
Подарите беззаботность, реки,
Уступите, горы, чистоту.

Я рожден всего лишь человеком,
И всю жизнь завидую я вам —
Быстрым птицам, беззаботным рекам,
Вольным ветрам, снеговым горам.

(Перевод Н. Гребнева)

Мечта в идеале. А необходимость — это нести «бремя» жизни. Потому что — вот в ущелье раздался звук выстрела. Коза упала. Козленок остался один. «Все так быстро опустело», даже «как-то странно потемнела трава зеленая вокруг».

Козленок горы озирает,
Уже он смутно понимает,
Что горя много на земле.

*(«Звук выстрела
в ущелье звонок...».
Перевод Н. Гребнева)*

«Всю жизнь мы не по силам тащим кладь...» — говорит поэт другой раз (одноименное стихотворение) и заканчивает мысль тем, что свою трудную жизнь не променяет на легкость жизни иных, что в принципе справедливо, так как легкая жизнь нередко бывает еще и пустая, неинтересная, и множество еще у нее неприятных оттенков.

С другой стороны — страстная мольба поэта, горячее участие человека в его незащищенности:

Говорят, дурные вести чаще
К нам приходят в предвечерний час,
Вместе с грустным солнцем заходящим,
Вместе с тьмою, кутающей нас.

Злые вести, путь проделав дальний,
В сердце нам проникнуть норозят,
В час, когда ручьи текут печальней
И грустнее ветви шелестят.

Даже птица в небесах блуждает,
И река в песках теряет путь.
Ищущая цели весть дурная,
Заблудись и ты когда-нибудь!

*(«Говорят, дурные вести чаще...».
Перевод Н. Гребнева)*

С одной стороны, полное радости приветствие жизни — «Здравствуй, утро!» в одноименном стихотворении, где поэт, варьируя название своего первого юношеского сборника стихов, говорит:

Стал и бывалым я и мудрым,
Я видел все: и рай и ад.
Но и сегодня «Здравствуй, утро!»
Твержу, как тридцать лет назад.

(Перевод Н. Гребнева)

Поэт благодарит каждый прошедший день независимо оттого, «ничтожно ль, велико ль твое значенье, ты радость мне принес иль огорченье», «пусть хмур был твой рассвет, печален вечер, нам вновь не суждена с тобою встреча, я все равно тебя благодарю!» («Прошедший день»). Славит судьбу за то,

...что в пору лихолетий,
В огне, под снегом или под водой
Мой смертный час нигде меня не встретил.

*(«Я должен быть благодарен судьбе».
Перевод Н. Гребнева)*

То есть, как видим, довелен ею, нет оснований ни для горестей, ни для огорчений.

В стихотворении «Зимует птица между скал, где лед...» поэт говорит о том, как «птице тяжело зимой бывает», каково траве, которую «никто от бурь не укрывает», а реке «душно и темно» подо льдом.

Но счастлива река — она течет,
И счастлив снег — на солнце он сверкает,
И счастлива трава — она растет,
И птица счастлива — она летает.

(Перевод Н. Гребнева)

И рядом со всем этим такая пронзительная мольба, даже молитва, как сам поэт справедливо сказал, отнюдь не свидетельствующая ни о счастье, ни о благодарности жизни, ни о довольстве судьбой («Молитва скалам»):

Я молю, чтоб вы пеплом не стали,
Даже если сожгут вас огнем,
Если пеплом вы станете, скалы,
Чье упорство в пример мы возьмем?

Я молю вас, не будьте недобры,
Я молю вас о милости к нам,
Я молю вас, не станьте надгробьем
Для идущих по вашим камням.

(Перевод Н. Гребнева)

Как примирить все это, нет ли здесь противоречий? Да, противоречия есть, и немалые. Это противоречия жизни.

А что поэт? Не может же художник представить только фактические явления жизни, хотя бы и эстетически выраженные, и на этом остановиться. Не получилось ли такое у Кулиева, не пошло ли здесь все «самотеком» и читателю остается тонуть в разное идей, вытекающих из жизненных противоречий?

Нет, у него позиции ясные, твердые и уверенные, анализ и синтез у него всегда идет рядом; он ставит систему проблем перед человеком и человечеством, перед каменотесом и государственным деятелем, реальные и идеальные, сегодняшние и перспективные, отвечает на них.

Блажен исследователь, который, увидев оригинальные мысли поэта в одном отдельном стихотворении и даже одной строфе, строчке, берет на себя смелость оценивать это как мировоззрение поэта и, переходя от стихотворения к стихотворению, легко выстраивает це-

почку его идейно-тематического развития. У Кулиева все иначе. Нередко многие его стихотворения вбирают в себя целый комплекс его идей. Как мы уже говорили выше, он не успокаивается до тех пор, пока дорогую ему идею, очень важную, по его мнению, для человека, не рассмотрит со всех сторон. Так у него складываются системы идей. Но и это не все. Все его идеи, уже систематизированные, то есть, его системы идей так тесно сцеплены, взаимопроникают, взаимообуславливают, являются одновременно и причиной и следствием друг друга, что очень трудно установить в них последовательность, нужную не только для объяснения Кулиева, но хотя бы просто для последовательности изложения и восприятия читателем материала. На стихи Кулиева отозваться легко, но внешняя их простота и эстетическое обаяние очень сложны по внутреннему содержанию, и без вдумчивого взгляда, логического объяснения их понимание будет неполно. Поэтому возникает необходимость, говоря об одной его системе, обращаться и к другой, уже уясненной, и к той, которую еще предстоит уяснить.

Итак, то, что поэзия Кулиева отражает в себе противоречия жизни, психологические противоречия человека, его самые различные состояния, едва ли не одно из самых ценных качеств поэзии вообще. Это и полнота отражения жизни, это и глубина проникновения во внутренний и внешний мир наш, это естественность, стало быть, близость поэта к самому большому числу читателей — к самым разным психологическим типам и состояниям и жизненным ситуациям личного и общественного бытия, от смещения которых, в сущности, мало кто гарантирован. Надежным же путеводителем Кулиева в лабиринтах этих противоречий, неизменно приводящим его к неотразимо оптимистическим, очень жизненным решениям, определяющим также и нынешние крупные достижения поэзии Кулиева, является его

боль за человека. И выражается она у поэта в самых разных аспектах, разных областях действительности.

Много говорит о поэте в этом отношении его стихотворение «Печаль заглохшего колодца...».

Печаль заглохшего колодца
и вечер знает, и восход,
гора, трава, что рядом вьется,
хотя воды его не пьет.

Печаль заглохшего колодца,
его тревога и беда,
и камень мучит, хоть клянется,
что не нужна ему вода.

Печаль заглохшего колодца —
и в этом суть любой беды —
в конце концов того коснется,
кто и не пил его воды.

Печаль заглохшего колодца
тебе не обещает благ.
И над чужой бедой смеется
лишь незадачливый дурак.

Печаль заглохшего колодца
пусть всех печалит, всех гнетет:
беда, что в дом к соседу рвется,
наш дом навряд ли обойдет!

Кто от несчастья увернется?
От горя спрятаться куда?
Печаль заглохшего колодца —
твоя беда, моя беда.

(«Печаль заглохшего колодца...».)
Перевод Н. Гребнева)

Кулиев здесь, как всегда, интересен убедительностью и смыслового и эстетического планов. Чтобы облегчить боль человека, чтоб только бы бороться с бедой человеческой, объединить людей в этом наступлении на нее, поэт согласен для начала и на немногое: чтобы люди отзывались на чужую боль пусть и не из собствен-

ной отзывчивости, а из понимания, что и тебя она «в конце концов... коснется», и «прятаться» от нее некуда. И эта начальная, отправная позиция, пробудив в человеке сознание, может потом превратиться в его душевное качество: чужая печаль уже навсегда, может, станет «твоей бедой, моей бедой». Призыв поэта действен и тем, что он обращен к каждому человеку в отдельности и ко всем вместе. Душевное бдение — вот чего он ищет и к чему призывает людей. И это — одно из лучших его решений проблемы.

Эту свою мысль Кулиев, как всегда у него бывает, еще более заостряет: «Таких на свете нету островов, где горе человека не тревожит», если даже твой дом «остров в водах полуденных», «нет островов, от бури защищенных». Вряд ли можно на это что-либо возразить. А поэтому прямолинейное предостережение поэта: «не пожелай пожара никому, не то и стен твоих огонь коснется!» — также попадает в цель точно («Таких на свете нету островов...»). И вот, наконец, рождается, одно из его великолепных заключений — широковещательное, масштабное, многоплановое и по глубине мысли исчерпывающее:

Зло только зло родит,
И ничего другого.
В ответ лишь зло обид
Рождает злое слово.

Свинец в стволе не спит,
Он кровь и месть рождает,
И камень с гор летит,
И камень увлекает.

Иного ничего —
Зло только зло рождает,
Быть может, оттого
Оно не иссякает.

(«Зло только зло родит...».)
Перевод Н. Гребнева)

Не иссякает боль. И поэт не перестает думать о ней, он все более и более поглощен ею, очень чуток к ней и где только ее не замечает. И сочувствует. Потом — зовет, молит радость людям, избавление от боли.

Все повидавший на пути своем,
Изведавший все горести на свете,
Из благ земных молю я об одном —
Пусть никогда не умирают дети.

Я понимаю: этому не быть,
Смерть без разбора расставляет сети,
И все ж я не устану говорить:
«Пусть никогда не умирают дети!»

(«Пусть никогда не умирают дети».
Перевод Н. Гребнева)

* * *

Сидит старуха, смотрит пред собою,
А я молю, пока она живет,
Пусть затуманит время все плохое,
Пусть в памяти все светлое всплывет!

(«Старуха сидит на камне».
Перевод Н. Гребнева).

* * *

Ты ждал, что солнце в ранний час с любовью
Согреет спину твоего быка,
И хлев, и двор, и вымена коровьи,
Подойники и ведра молока.

Но утром на луга легли туманы,
А ты мечтал о солнце, о тепле,
И кажутся печальными каштаны,
И двор, и хлев, и башня на скале.

(«Ты жизни ждал, что солнце...».
Перевод Н. Гребнева)

И поэт опять заканчивает мысль пожеланиями добра: «желаю, люди, вам, чтоб все сбывалось, чтоб в жизни вам надежда не лгала», «желаю вам, чтоб солнечными были загаданные солнечные дни».

Желание тепла и радости человеку так владеет поэтом, счастье так необходимо ему, что поэт говорит серьезно и о самой крошечной ее частице, и мимолетной, нереальной:

Вы снов счастливых не кляните
За их бесхитростный обман.
Пусть хоть во сне, когда вы спите,
В снегу распустится тюльпан.

Пусть хоть во сне мелькают лица
Людей, которых нет давно,
Пусть хоть во сне осуществится
То, быть чему не суждено.

Сны быстротечны, словно птицы,
Взлетающие в синеву,
Пусть счастье хоть на миг приснится
Тем, кто несчастлив наяву.

*(«Счастливые сны». Перевод
Н. Гребнева)*

Таковы его стихи «Спасибо, жизнь», «Когда моих годов прервется нить...», «Ночь. Спокойно дети спят...». При всем благородстве порывов поэта, счастье в них, кажется, слишком зыбкое, утешение слабое.

Несколько стихотворений такого типа промелькнуло в творчестве Кулиева в предыдущий период. Было понятно, например, при всей неосуществимости его мысли, стихотворение «Стать бы мне, земля, высокой кручею...», потому что оно строилось на предположении. И была необъяснима «Молния»: при всем его доброжелательстве последнее было пассивным. Мы так и

отнесли эти стихи в разряд пассивного доброжелательства. Так тогда оно и было.

Но вот теперь появился целый ряд интереснейших стихотворений поэта, в свете которых становится объяснимым многое. Это стихотворения — «Колыбельная песня», «Я спал в траве однажды, и под утро...», «Безбрежна правда, но и ложь безбрежна...», «Умели люди сеять хлеб...», «Я вынашиваю и провижу...», «Подсолнух хочет только солнца вволю...», «Пусть мы умрем, но навсегда...», «Дон-Кихот», «Две песни, которые любила мать», «Говорю во сне с будущим» и др. В них боль за человека, желание добра перерастает в мечту об идеальном мире, где и находит отражение главная его идея: обществу создавать радость, счастье отдельного человека и всеобщее счастье на земле.

Вот он поет колыбельную миру («Колыбельная песня»):

Спите, люди, тьма кругом,
Спите, ветры и метели,
Спите, речки подо льдом,
Спи, ущелье!

.....
Спи, все горе на земле,
Боли нам не причиняя.
Навсегда усни в стволе,
Пуля злая.

(Перевод Н. Гребнева)

Спи, все «зло людское!».

Вот он спит и видит во сне «необычайный сон»:

Мне снился чудный сон, мне снилось, будто
Все беды мира были лишь во сне.

.....
Мне снилось, что прошли все беды мимо,
Я тихо спал в траве, и снилось мне:

Прах Хиросимы, печи Освенцима —
Все это было с миром лишь во сне.

(«Я спал в траве однажды, и под утро...».)
Перевод Н. Гребнева)

Сон — мечта наяву. Уж кто-кто, а Кулиев-то на себе испытал и видел, каких только мастей не бывают беды и как ему может «пригрезиться» идеальное? Именно потому и мечтает поэт о счастье, добре, что видел много зла; и зло рождало зло, и стояло поперек всему лучшему, давило, душило и творения ума, и тепло сердец человеческих:

Ума и мужества хватало
Во всех краях, во все века,
Но жизнь сердца ожесточала
И храбреца и знатока.

Хватало хватки и усердия
У всех в любые времена.
Жизнь лишь добром и милосердьем
Нас одаряла не сполна.

И книги, и слова поэта,
И опыт вразумил меня.
Тавром легла мне эта мета
На сердце, как на круп коня.

(«Умели люди сеять хлеб...».)
Перевод Н. Гребнева)

Когда после всего этого, выношенная годами подспудная мечта об идеальном мире, пройдя через всю книгу «Мир дому твоему», становится центром внимания поэта и в следующей книге, «Кизилковый отсвет», неотступно владеет им и, наконец, формируется в осмысленное высказывание, оно, несмотря на все уже известное нам о мечте поэта, вдруг воспринимается как откровение: это такое безыскусственное, такое перво-

зданно светлое влечение, которое вызывает не только уважение, но сочувствие «мечтателю».

Я вынашиваю и провижу
Книгу сокровенную про то,
Что никто на свете не унижен,
Не обижен на земле никто.

Я мечтаю, чтобы в жизни было
Так же все, как в книге у меня.

Можно себе представить, сколько душевного груза от несовершенства мира несет в себе человек, чувствующий подобным образом. Эта непокойная озабоченность, в которой зрелый философский ум сочетается с детской непререкаемостью веры, видна в образах древних мыслителей Востока. Отягощающая душу мудрость и врывается непрошено в мечты Кулиева, правит думами поэта, то, казалось бы, до безысходности омрачая их, то вновь заставляя искать пути борьбы и спасения от горечей в жизни, возвращая к светлым началам, которые он и утверждает в своей поэзии. И поэт пишет:

Я о книге думаю и слышу,
Чей-то стон летит издалека.
Вижу: пламя лижет чью-то крышу,
Чья-то к небу тянется рука.

И соседка — женщина седая,
Сына не дождавшаяся мать —
Плачет столько лет, и я не знаю,
Чем помочь и что мне ей сказать...

Книгу, о которой я мечтаю,
Вряд ли мне случится написать.

(«Я вынашиваю и провижу...».)
Перевод Н. Гребнева)

Поэт тоскует, видя несбыточность своей мечты. Тут бы впору прийти в отчаяние, потерять надежду. Но с ним никогда этого не происходит, и здесь нет ни тени бодрячества. Источник его силы — та же мудрость, то же познание мира, которые отягчают его душу, не дают написать «вынашиваемую книгу» о гармоническом мире: поэт то «стоит, как дуб», то «гнется, как ольха», и не ломается, то он в любом случае продолжает неистово молить о правде, о добре, о справедливости, об исцелении человека, общества от всех пороков и боли. Он знает, что «безбрежна правда, но и ложь безбрежна», и все-таки или, быть может, именно поэтому

И я молил, чтоб перестали лгать.
Так над больным ребенком безнадежно
О чуде исцеленья молит мать.

Я знал, что много в этом мире горя,
Но я молил, чтоб сгнуло оно.
Так о дожде аллаха молит горец,
Когда уже все поле сожжено.

.....
Я знал, что кровь лилась и литься будет,
Но чтоб не литься ей, я все равно
Молил, как люди молятся о чуде,
Которому свершиться не дано.

(«Безбрежна правда, но и ложь безбрежна...».)
Перевод Н. Гребнева)

Вот именно: люди молят о чуде, землепашец молит и ждет дождя, даже заведомо зная, что не будет чудес. Это естественно, это, как ни парадоксально,— правда жизни. И верность Кулиева жизненной правде, естеству человеческого выводит его на верную дорогу из любых сложных противоречий самой же действительности. Поэтому его «безнадежная», отчаянная мольба отнюдь не бесплодна, не говоря о других, активных, решениях темы. И тут никакой натяжки, ничего насиль-

ственно придуманного у поэта нет: идеальное вытекает у него из реального и, в свою очередь, служит совершенствованию последнего; ведь при всем своем отчаянии Кулиев знает заветное, сокровенное мира сего:

Подсолнух солнца не искать не может,
Пчела не может не искать цветка.
О том, что в жизни нам всего дороже,
Мечтаем мы. И так во все века.

Больной скорее стать здоровым хочет,
И молит поле, чтоб не грянул гром,
Над цветком весь век пчела хлопочет,
А я о чем мечтаю?
О своем:

Пусть обретет подсолнух солнца вволю,
Пчела найдет цветок заветный свой,
Пусть не сожжет война посева в поле,
Пусть исцелится человек больной.

(«Подсолнух хочет только солнца вволю...».)
Перевод Н. Гребнева)

Ведь Кулиев, кроме того, не раз бывал свидетелем, как идеальное становилось реальным, как человеческие идеалы, надруганные и искривленные теми, кто не верит в идеальное, воскресали, возвращались к жизни — побеждали! Так был не только изгнан за пределы страны (это, пожалуй, и в самое тяжелое время оставалось для наших людей реальностью), но так был повержен фашизм, так вернулся на свои земли народ Кулиева. Поэт об этом опыте своем никогда не забывает, ссылаясь на него и раньше, из него выросла его прежняя, суровая поэзия. Но теперь характерно, что поэт приводит его там, где в своих мечтах воспарил так высоко — «несбыточно», как область снов, такое «слабое утешение», как «счастливые сны».

И в годы черные случалось
Сны золотые видеть мне,
Случалось, что потом сбывалось
То, что привиделось во сне.

Когда бесчисленные беды
Нас окружали в дни войны,
Еще задолго до победы
Победа нам вривалась в сны.

В чужом краю, где мне случилось
Надолго обрести мой дом,
Мне часто возвращенье снилось.
Что снилось, то сбылось потом.

*(«Счастливые сны». Перевод
Н. Гребнева)*

Таким образом, все — в руках человека: в его силе, в его воле стремиться к идеалу, облагораживать мир, избавлять его от бед, к кому — к каждому в отдельности и к коллективному, всеобщему разуму которого и обращена светлая и драматичная поэзия Кулиева: ее мольбы и увещания, ее укоры и просьбы, ее сны наяву и предостережения, ее призывы, надежды, вера и отчаяние.

И вот мечта Кулиева озаряется еще одним светом, который, увы, не часто встретишь:

Пусть мы умрем, но навсегда
Жизнь не исчезнет вместе с нами.

И, завещая мир живым,
Я буду, может быть, счастливей,
Поверив, что он будет к ним
Добрей, чем к нам, и справедливей.

*(«Пусть мы умрем, но навсегда...».
Перевод Н. Гребнева)*

Это еще одно ценнейшее человеческое качество, которое питает ставшую ныне особенно благородной и вы-

Хотя все три книги последних лет Кулиева тесно связаны между собой, но есть в них и существенная разница: первые две книги — книги тревог, третья — «Книга земли» — книга утверждения. Таким образом, в поэзии Кулиева и здесь идет внутренняя эволюция — углубление и расширение познания мира, новая, еще более высокая оценка нравственных ценностей, перераспределение действующих в жизни сил.

Известно: истинная поэзия отражает время. Но такая полная «зависимость» от времени, такое соответствие его духу, как у Кулиева, все же удивительна.

Среди других мотивов, тем, тоже важных и своевременных, антивоенная направленность — одна из основных черт нынешней поэзии Кулиева. Она присутствует, как мы видели, почти во всех думах и размышлениях поэта о жизни. Есть у поэта и открытые, вызванные именно этой тревогой антивоенные выступления: стихотворения «Я видел, как селенья догорали...», «Божий меч», «Вишневый сад», «Я чувствую, что гром таятся в туче...», «Дом и мир», «Опять чинары скорбно шелестят...», «Монолог». Большая боль, печаль, тоска и мольба, звучащие в них через свидетельство очевидца и боль поэта-гражданина, взывают к миру, в его защиту, предостерегают, но все они именно скорбны, молитвенны, иного решения в них пока нет.

Я, видевший и хоронивший павших,
О мире человечеству молюсь.
И голодавший сам и холодавший,
Я голода и холода боюсь!

(«Я видел, как селенья догорали...».)
Перевод Н. Гребнева)

Цветут сады, а мной владеет страх.
Сады белы, покуда не опали.
А я бывалей их, в моих глазах
Уже мелькнул привычный блеск печали.

Кто может знать, что будет впереди?
Цветут сады, а небо тучи хмурит.
И я взываю к миру: огради
Вишневый сад от града и от бури.

(«Вишневый сад». Перевод Н. Гребнева)

Непрям и труден был мой путь,
И я теперь прошу, как милость,
Чтоб не пришлось кому-нибудь
То пережить, что мне случилось.

Чтоб не запахло вновь войной,
Чтоб без надежды и без хлеба
Мой не остался край родной
Иль край, где я ни разу не был.

Прошу я мир — не будь суров
И не лишай тепла и кровя
Людей всех сущих городов
И края моего родного.

*(«Дом и мир».
Перевод Н. Гребнева).*

Я спать хочу, как в бурю в гнездах птицы,
Но в мире, что манящ и так широк,
Покоя людям нету, мне не спится
От обступающих меня тревог.

Скакун, рожденный даровать нам радость,
Не мчись к бездонной пропасти, постой!
И ветер, призванный нести прохладу,
О неизбежной гибели не пой!

(«Монолог». Перевод Н. Гребнева)

Тревога преследует постоянно. Поэт пишет о ней, хотя вера никогда ему не изменяет. И мысль поэта продолжает искать ответ на волнующие его вопросы. Она,

видимо, уже несколько отрывается от его предыдущего личного опыта, все более задерживаясь на том, что на современной войне масштабы потерь будут уже не те, что были на прошлой: быть или не быть земле, миру, человечеству? Чем грозит ей ядерная катастрофа? Почему на этой прекрасной земле, созданной для счастья, покоя, тишины, всеобщего благоденствия, должна царить постоянная тревога, угроза разрушения? Таковы подходы Кулиева к его философско-эстетическим решениям в «Книге земли», пока больше только эстетические и просто чисто человеческие.

«Скакун, рожденный даровать нам радость», «Ветер, призванный нести прохладу», вид спящих детей («Монолог»), роскошный цветущий сад («Вишневый сад»), радуга, при виде которой у поэта возникают такие редкостные по человечности и красоте ассоциации,—

Радуга. Добры твои зазубрины,
И хоть нет оружия древней,
Ни травинки ею не загублено,
И ничто не пало перед ней.

Как прекрасно это полукружие,
Что ничьих голов не сносит с плеч.
Уничтожьте, люди, все оружие
И оставьте только этот меч! —

(«Божий меч». Перевод Н. Гребнева)

вызывают тревогу, ассоциируясь с картинами их гибели. И они же, эти простые приметы природной красоты, затем вырастут в символ прекрасного на земле, которое конечно же нельзя уничтожить, без которого не может быть жизни человеку, если он сам, допустим, и сохранится; да и самой земли не будет — что за земля, земля-пустыня? — разве насадишь эти леса, «откроешь» заново зеркальные озера, моря, «вырастишь» горы и луга, выстроишь города и веси! И все это, через

что возникает тревога, станет потом самым сильным оружием поэта, самым разумным доводом поэта в защиту мира. Утверждение победы сил мира, разума, добра и справедливости, торжества прекрасного, светлых начал в человеке, мире, вера в них составляют основной пафос «главной» на данном этапе книги Кулиева — «Книги земли».

А пока это сказалось (в единственной в своем роде строфе на всю первую половину этого периода его поэзии) так:

И сам прошитый пулями насквозь я,
Сегодня упиваюсь мирным днем.
Я славлю камни, яблони, колосья
И вертел над пастушеским костром.

(«Я видел, как селенья догорали...».)
Перевод Н. Гребнева)

Потом это будет славой жизни, хвалой миру, победой прекрасного. А пока оно появилось в нескольких стихотворениях, робко примостившихся на самых последних страницах книги «Мир дому твоему» («Благодарю солнце», «Цветы», «Трава на земле, на небе звезда...», «Апрель», «Раскрыл окно, и шум дождя ночью...», «Я не могу сказать...», «Тому, кто придет вслед за мной») и получивших продолжение в «Книге земли».

В стихотворениях «Трава на земле, на небе звезда...» и «Апрель» отражено простое любование красотой природы, родной земли без какого-либо специального подтекста. Это эмоции. Но эмоции здоровые, сильные, предельно насыщенные жизнелюбием. «Благодарю солнце» имеет уже народно-философскую основу возвеличения природы за силу, за мощь, за добро.

Благодарю тебя за то, что рано
Пришло во двор и в сад наш забрело,
За то, что в дыню на краю баштана
Ты жизнь вдохнуло, дав свое тепло.

За то, что греешь и змею и птицу,
За то, что заставляешь жмурить глаз,
За то, что ты вошло в окно больницы,
Где кто-то видит день в последний раз.

В одной из строф этого стихотворения есть та мысль, на которой целиком строится стихотворение «Цветы», и они вместе составляют еще одну примечательную особенность поэтического видения Кулиева.

Благодарю, что в пору лихолетья,
Когда кругом была сплошная мгла,
Сознание, что где-то солнце светит,
Меня обороняло ото зла.

*(«Благодарю солнце».
Перевод Н. Гребнева)*

Цветы, мы питомцы одной
Земли, где много тепла и света...

Я вижу вас на далеком лугу
В тот час, когда мне приходится туго,
Когда я слова найти не могу,
Когда за окном свирепствует вьюга.

Я вас вспоминаю всем бедам назло,
Я к вам пробираюсь по скалам отвесным,
И мне становится снова тепло,
И слово свое обретает место.

(«Цветы». Перевод Н. Гребнева)

Метафора здесь, конечно, есть, но не только и не столько в ней дело. Для Кулиева остаются в силе образы самого Солнца и цветов как таковых — светила нашего со всеми дарами и благами, которые оно приносит нам и — цветов с их красотой и неизменной сутью, всегда прорастающих и расцветающих несмотря ни на что. Оба образа восприняты (взяты) в качестве поэтических средств для выражения идеи именно как силы

природы — без перевоплощения. И поэт, в отличие от первого случая («Апрель», «Трава на земле, на небе звезда...»), не только любит ими, а самым непосредственным образом находит в них душевную опору, его влекут к ним их жизненные силы. И такой образ, что цветы и поэт «питомцы одной земли, где много тепла и света», в котором, кажется, ничего особенного нет,— не традиционные слова, а восприятие земли как действительного источника прекрасного, основы жизни человека.

В стихотворении «Я не могу сказать: «Мне все равно...»» возникает еще одна важнейшая в мировоззрении Кулиева мысль:

Я не могу сказать: «Мне все равно,
Что будет в мире после нас твориться!»
За кладбищем, где тлеть мне суждено,
Пусть сад цветет и поле колосится!

Ты, мир, меня жалел не больше всех,
Когда уйду, других жалей и радуй.
Пусть дождь идет, и пусть шумит орех
Листою за кладбищенской оградой.

Я не скажу: «Пусть мир летит с основ,
Когда я буду истлевать в могиле!»
Из мира уходя, подобных слов
Ни мой отец, ни мать не говорили.

*(«Я не могу сказать: «Мне все равно...»».
Перевод Н. Гребневой)*

Эти стихи не вызвали бы столько толкований, остались бы в нашем и читательском восприятии, скромно примостившись на последних страницах сборника стихов поэта, прошли бы незамеченными среди больших, «основных» проблем книги («Мир дому твоему»), если бы не «Книга земли». Благодаря ей они выдвигаются на передний план как начало самых главных из главных мотивов и проблем поэзии Кулиева и жизни, как отраже-

ние того направления в мире поэта, которое привело его к вершинным находкам и идеям, наконец, как показатели процесса художественного мышления поэта, познания, эстетического исследования им мира, жизни, человека.

Во всех этих стихах Кулиева есть не только эмоции, чувства, но и сознание, нравственные оценки. Только пока импульсивные. Эти импульсы явились той основой, на которой выросла (сложилась) «Книга земли», новые идеи Кулиева.

Мы помним особо пристальное внимание Кулиева к природе, его благоговейное отношение к ней, его предыдущие индивидуальные художнические находки в этой области. Однако тогда все это воспринималось и отражалось, как это всегда бывает в искусстве, в переносных, метафорических значениях. Теперь Кулиев возвращается и возвращает нас к истокам — к самой природе, земле как таковой. Это теперь не только природа, земля, а мироздание, в центре которого — человек. Единой темой поэта, вбирающей все остальные, становится человек, человек и мир, человек и общество, в свете которой он решает множество проблем современности. И повсюду теперь у него превалируют светлые тона, настроения, мягкие интонации, утверждаются светлые начала; виден светлый взгляд в свое завтра, всей страны, планеты, человечества.

Переход этот хорошо выражен в стихотворении «Час, когда птицы поют».

Ранний час, когда птицы поют
над садами, покрывшими дали,
избавляешь ты радость от пут,
исцеляешь людей от печали.

Час рожденья зари и росы,
светлый час соловьиного пенья —
это, может быть, час искупленья
мне за все остальные часы.

• • • • •
Может быть, в этот час забывает
мир вражду и неправый свой суд...
Нет покоя у нас, но бывает
светлый час, когда птицы поют.

(Перевод Н. Гребнева)

Вот как велико по концепции Кулиева не только врачующее душу, но и облагораживающее влияние даже малого отрезка времени. Что же, поэт вынужден говорить предположительно, однако тут ничего невозможного нет — такова сила прекрасного, которое нашло у Кулиева совершенное эстетическое выражение.

Переход от импульса эстетического восприятия, эмоции к социальному обобщению у поэта здесь еще интуитивный. В стихотворении «Где-то бомб водородных растут штабеля...» имеется открытое антивоенное высказывание, поэт прямо говорит: «верю в бессмертье» добрых начал природы, — все же высказывание производит впечатление мимолетного, под ним нет еще изученной, систематизированной базы, сознание поэта еще не углублено в исследование, в нем появился только толчок к этому:

Где-то бомб водородных растут штабеля,
а у нас в Приэльбрусье, на склоне осеннем,
как столетья назад, золотеет земля
в голубой тишине свежескошенным сеном.

Днища ведер согреты парным молоком,
барбарисы над тропами тихими алы,
скачет мальчик на ослике, далью влеком,
по дороге, где войн грохотали обвалы.

Верю, знаете, верю в бессмертье травы,
в добрый дух молока, людям силы несущий,
в смех ребенка, в тишайшую гладь синевы
и в огонь, выпекающий хлеб наш насыщенный.

(Перевод Д. Долинского)

Огонь, выпекающий хлеб, сильнее смертоносного огня — так было всегда, сейчас он мирно горит там, «где войн грохотали обвалы». Теперь мысль поэта все время работает вокруг этой замеченной им закономерности, проходит через толщи времен, пространства мировоззрения, законы бытия и повсюду видит ее подтверждение.

Сколько крови пролилось издревле,
сколько армий погибло в бою!
Но как вечны дожди и деревья,
Как пленительны в каждом краю.

(Перевод Н. Гребнева)

А название этого стихотворения всего-навсего «Дождь в Братиславе». Поэт не ищет специально ничего для обоснования своих идей, просто на каждом шагу, в каждом проявлении жизни он наталкивается на закономерности вечного. Только он никогда не забывает, что «земля одна». Он и не обязывает себя к этому, не делает этого даже из чувства долга. Это единственно возможное для него видение, естественное восприятие мира. Поэтому, что бы ни попадало в поле зрения Кулиева, оно получает интерпретацию, имеющую весомость, какой обладают общеземные, чаще всего природные, явления; ему всегда удается с неоспоримой убедительностью сорвать со всего привычного пелену обыденности. При этом он часто ничего не приподнимает, а возвращает явлениям их действительную, не оцененную людьми, забытую ими ценность.

Начнем с того, что вот самолет поднялся в небо, и:

Самолет! Человеческий разум не будет побежден.
Он останется похожим на эти высоты,
Выход найдет, не даст себя испепелить,
Жизнь, поднявшая тебя на эту высоту.

(Подстрочный перевод)

Воистину, зачем ее испепелить? Во имя чего?.. Ведь разум человеческий творит для блага человека. Разве не может тот же разум человеческий понять этого?

Вот каждое утро занимается заря над планетой. Для жизни, для радости. Не для войн же!.. Заря. Какая в ней заключена могучесть! Могучесть доброй силы: вся жизнь на огромной земле, все великое — от нее. Если человек силен, пусть будет таким, как заря, как жизнь, а не как смерть. Смерть. Какая в том слава?! Мертвить. Много ли разума для этого надо!

И хор птиц вторит на рассвете:

- Живи, Земля!
- Живи, Небо!
- Живи, Рассвет!

*(«Разговор птиц
на рассвете...».
Подстрочный
перевод)*

Все живое на земле насыщено волей жить, волей быть — вот что теперь видит Кулиев повсюду. И повсюду теперь всю его «Книгу земли» пронизывает могучая хвала, слава жизни, миру, бытию. И она даже не то что провозглашается, а сама словно бы, как трава, как колос, как дерево, вырастает из земли, из жизни, неудержимо тянется к небесному свету, воздуху, полна торжественного покоя. Поэт требовательно ожидает вечного спокойствия в мире: имеет моральное право ожидать его — во имя жизни! Во имя зреющего колоса, во имя зрелой человеческой мысли, готовой дать новые дары для прекрасного мира. И «Песня колосьев», рожденная из глубоких дум, плывет над миром, не может не достичь разума и сердца человека, как достигает их тишина тех предвечерних часов природы, мироздания, перед величием которых каждый из нас замирает.

Только мы не знаем, что это величие. На это-то как раз открывает нам глаза искусство поэта.

Небо, мы кланяемся тебе,
Мы в цветении сейчас.
Благодарим тебя, дождь,—
Ты так щедро шел!

Сумерки, мы видим тебя,
Спокойно зеленеем.
И вы хороши,
Небо ваше задумчиво.

Земля, мы кланяемся тебе,
Наливаемся соком,
Наша мать-земля,
Дай нам силы выстоять!..

(Подстрочный перевод)

Покушаться на это, уничтожить! Может ли быть тому прощение когда-нибудь? Конечно, нет. Только вечные проклятия всего мира, человечества, всего сущего на земле ожидают его. В чем же величие первозданного, увиденного глазами поэта? В том, что оно прекрасное. А прекрасное возьмет верх в разуме человека, в бытии, в мире, восторжествует. Таков закон самой жизни, мироздания; человек сам по сути своего естества, неисковерканного, здорового, всегда стремился и стремится к прекрасному. К созиданию, а не разрушению; создавал произведения искусства из жажды прекрасного. Покушаться на прекрасное — значит идти против жизни, человечества, не считаться с волей, мечтами народов.

Величие первозданного в природе еще в том, что это основы мира. На них жизнь покоится. Хвала человеческому уму: ученые создают новые виды хлебного колоса. Но кому удалось создать зерно, колос изначально! Хвала разуму человека — научился обогащать почву. Но кому под силу создать землю изначально?!

Сколько раз человек уходил от основ в мир, им при-

думанный, но, опять «перебродив», возвращался к первоосновам. Так было, так будет. Возвращают его к этому сама жизнь, сама природа человека, исконные, лучшие идеалы человечества. Вот почему

Тот мудрец, кто лелеет колосья,
Тот палач, кто сжигает пшеницу.
Сколько палачей прахом стало,
А поля колосятся и в этом году.
Тот мудрец, кто растит сады,
Тот палач, кто сжигает баштаны.
Сколько палачей глиной стало,
А деревья зацвели и в этом году.
Тот мудрец, кто растит детей,
Тот палач, кто детей убивает.
Сколько палачей землей стало,
А дети и сегодня играют,
Бегают в каждом дворе,
Детскими голосами полна округа.

(Подстрочный перевод)

Очевидно, мир живет и процветает потому, что мудрецов было куда больше, чем палачей. Мудрецами были целые народы. Все народы. Палачами — лишь единицы, которые из одного только корыстолюбия и непонимания мудрости земной, мудрости большинства, и поднимали руку на мир. Как можно завоевать мир?! А именно этим грезили те недалекие единицы, что без исключения кончили бесславно, нет — позорно! И это был и есть — закономерный исход. Жива, вечно нова и вечно неизменно прекрасна наша древняя земля. И Кулиев утверждает ее красоту, силу, нерукотворное величие, ее вечность.

Снова, как в детские годы, мне сладостно
воздуха свежесть речную глотать,
снова, как давнему предку, мне радостно
знать, что весна победила опять.

Знать, что, как прежде, ей стали покорными
буйные льдины и вихрей орда,
знать, что опять над вершинами горными
утренней нежностью блещет звезда,

слышать, как птицы поют, разоряются
так же, как много столетий назад,
так же, как в сердце далекого праотца,
в сердце моем эти песни звенят.

Снова мне верность и юность подарены,
снова тружусь, полон силы земной,
мир, никогда и никем не состаренный,
снова со мной, снова дышит весной!

(«Снова весна». Перевод С. Липкина)

Глубоко человеческая, гражданская, философская, историко-эстетически исследованная и обоснованная антивоенная идея Кулиева столь важна, так соответствует духу времени, что в ее утверждении он не удовлетворяется рамками только своей поэзии. Его страстное обращение к поэтам двадцатого века (одноименное стихотворение) говорит о том, что в защите мира равнодушных не должно быть. Художественное воплощение им трагедии двадцатого века в этом стихотворении, короткое, но точное и емкое, пожалуй, одно из самых сильных страниц в осмыслении человеческом этой трагедии; оно может быть написано на знамени поэзии века как постоянное напоминание о ее неизбывном долге перед людьми, перед временем; как напоминание о позоре века, допустившем такие неслыханные злодеяния. Да, у поэзии двадцатого века особое назначение, особо гуманная задача, долг перед настоящим и потомками.

Бессилие в горестный час,
неволя и смерть человека —
все было на свете до нас,
поэты двадцатого века!

Беда существует давно,
хватало и крови и дыма.
Но было лишь вам суждено
узнать, как горит Хиросима.

От века хватало смертей,
но прежде о том не слыхали,
чтоб в топки горящих печей
людей, как поленья, бросали.

С лихвою хватало смертей,
бывали огни и сечи,
но проволоки концлагерей
не видели ваши предтечи.

(Перевод Н. Гребнева)

Век, гордящийся своей цивилизацией, страдает под бременем беспамятства — забывает об основах, на которых держится земля. Ей, поэзии, должно постоянно стоять на страже этой памяти человеческой, постоянно напоминать безумствующим, что «ум и любовь бесконечны», «что вечны под этой луной и колос и певчая птица». Что они, ум и любовь, были, остаются и будут подлинными ценностями в человеке. Поэзии, художнику, искусству, как никогда прежде, предстоит вести целенаправленную борьбу за утверждение в умах идей ценности и вечности изначально доброго, разумного, за возвращение разуверившихся и безумствующих, пресыщенных иль слабовольных людей к пониманию величия, бессмертия исконно прекрасного, при любых достижениях человека, выше которого ничего быть не может. Мир явил нам образцы прекрасного совершенства, которые человеку постигать и постигать, и конца этому постижению никогда не будет.

А человек, осмысливший это, постигающий мудрость мироздания, никогда не может грозить ему разрушением.

Такой долг — быть памятью человека, наукой мудрости — выполняет поэзия Кулиева.

Идеи Кулиева о высоте и ценности первооснов жизни направлены не только против разрушения мира, но и разрушения личности. Это не менее важная и почетная задача, так как от состояния личности зависит в конце концов состояние мира. Эту сторону проблемы мы частично задели несколько выше. Теперь мы имеем дело с «первоосновами» в «быту». Быт — это жизнь. Все выдающиеся деяния совершаются в конечном счете ради него, становление личности в быту — есть становление ее и в обществе, для общества. Испытание бытом чаще всего оказывается не по плечу человеку. При всем том есть «эликсир», украшающий, возвеличивающий быт. Это духовность. Развитая духовность всего общества — это подлинное счастье человека и общества. Это тот гармоничный мир, о котором мечтал Кулиев. И его прообраз мы теперь видим в поэзии Кулиева не в мечтах поэта, а реально существующий. В мироощущении поэта.

Важнейшим «воспитателем» духовности в поэзии Кулиева является поэзия природы. Природа, по Кулиеву, это непревзойденный творец и учитель. Что особо надо выделить в идее Кулиева — это: природа учит чувствовать, но не только, она учит думать. Очень хорошо отражена эстетика Кулиева и сами пути, характер общения поэта с миром природы в стихотворении «Помолчим у горы. Для чего говорить...».

Помолчим у горы. Для чего говорить,
если в мире такая стоит тишина!
Все, что снегом успела зима побелить,
все зеленой травой одела весна.

Не пророним ни слова. Еще не пора.
Поразмыслим, помедлим над спехом своим.
Будем так терпеливы, как эта гора,
и на тихую землю с горы поглядим.

Оглянемся кругом. Может быть, и пойдем,
что вечерней горе тишина говорит,
отчего облака проплывают гуртом,
а одно, поотстав, над вершиной парит.

• • • • •
Знаю, знаю, потом повторятся не раз
шум дождя, шорох листьев и запах коры —
все без нас, как без тех, кто ушел раньше нас,
но спокойна гора. Помолчим у горы.

(Перевод О. Чухонцева)

Восприятие природы не рационализируется во имя идей. Оно прекрасно своей непосредственностью. Именно в этом изначальная сила эстетического воздействия поэзии природы у Кулиева на читателя. Но одновременно интуиция, неуловимые ощущения, посредством которых человек воспринимает природу и которые не оставляют равнодушным почти никого, не застывают у Кулиева на уровне одной только интуиции. Сознание оценивает созерцаемое в его невидимых бесчисленных связях с реальной действительностью, с бытом и их высшей сферой — бытием; с душой, сердцем человека, осязающими момент во времени, конкретную, знакомую картину и — мировыми пространствами, с их безбрежием, неразгаданностью, нераспознанностью. Во всем этом поэта захватывает, выступает на первый план его художнического видения гармония природы, исходящий из нее добрый покой. А все вместе, в свою очередь, настраивает поэта на размышления. Он приглашает нас видеть, замечать, думать: о мире и о себе, об истоках, мощи, чистоте первоначального, откуда лежит прямой путь к пониманию действительных и мнимых ценностей, о мгновении и вечности, о природе и человеке, о человеке в мире природы. Так возникает перед нами ассоциативный мир человека, которого об-

щение с природой приводит к непредвиденно богатейшим умозаключениям — духовному накоплению; видно начало, «механизм» «работы» ассоциаций, мышления. А вот когда созерцание красоты природы остается у человека на ступени чистой интуиции, эмоций, это и есть непрочность его связей с природой. Здесь в лучшем случае ее влияние на него быстро улетучивается, не оставляя заметных следов в духовном мире человека. В худшем — царит примитив, мещанство, урбанизм в отношениях к ней. Вряд ли Кулиев, создавая свою поэзию природы, думает об этом, но поэт познал, что осмысленное отношение к красоте природы приносит человеку настоящее счастье, и он поет хвалу миру, невольно обращаясь при этом к нам, страстно стремясь передать людям свои уроки высшего наслаждения.

Колосьям на земле и звездам неба
я поклоняюсь, я молюсь на них.
Нет ничего священной счастья хлеба,
нет ничего счастливей звезд ночных.
Ищи людского счастья проявленье
не только в хлебе.

Вспыхнет ли звезда,
пройдет ли дождь — начнется обновление
всего, что жило и живет всегда.

Это «такие отрады», «такие дары, цены которым нет», что «счастлив даже вол, уставший за день, что блеск звезды приносит на спине».

Это сознание впервые пришло к поэту, когда он «раненый лежал в пшенице», очнувшись, увидел звезды над головой, тронул колосья — понял, что жив...

И встал я, благодарность к вам храня,
земля, где для меня хлеба созрели,
и высь, где звезды светят для меня!

(«Колосья и звезды».
Перевод С. Липкина)

Психологический импульс сам по себе не нов. Был он новым для поэта постольку, поскольку он впервые испытал, «открыл» его на себе. Не нов и сам факт, что настоящая цена «обыденным» радостям жизни узнается тогда, когда грозит опасность лишиться их. А в будни, увы, мы так мало их ценим. Вот с этого начинается новизна кулиевского восприятия мира природы. Оно у него находится на высоте, не достигаемой ни малейшей тенью «житейской скуки», его никогда не коснется мрак будничного забвения. Поэт говорит о каждой черточке красоты создания природы-творца так, словно видит их впервые; такое же обновление и неодолимое влечение к ним чувствуем и мы.

Прекрасно все, что просто, все, что сложно,
и как не восхищаться нам с тобой
любой земною тварью, пусть ничтожной,
земной неповторимой красотой!
Прекрасно все — и сокол, и кузнечик,
зеленый и желтеющий листок...

(«Как хорошо проснуться на рассвете...».)
Перевод Н. Гребнева)

Кулиев видит природу так, что не только воскрешает в человеке знакомое, но преданное им забвению чувство прекрасного посредством изображения известных нам ее сторон, а открывает нечто совершенно неслыханное, от новизны которого сначала охватывает растерянность, потом изумление:

Дождь не нов, но каждый раз идет
Он не так, как шел на той неделе,
и вдали прочерчен небосвод
радугой, как никогда доселе.

Если в стихотворении «Помолчим у горы» мы видели богатство воображения поэта, многочисленность его

связей с природой, с миром, но они оставались пока только достоянием поэта, а для читателя — большой наукой, к которой ему предстоит приобщаться, то здесь как бы открывается некая заветная дверца в эту науку, ее секреты. Поэт направляет наше внутреннее зрение, показывает, как смотреть на «обыденное», чтобы увидеть его красоту. Известно множество эстетических открытий в поэзии природы, в том числе у самого Кулиева, но такое, когда дождь идет «не так, как шел на той неделе», и радуга каждый раз совсем не та, что всегда, удивляет так, что этими открытыми для удивления глазами мы смотрим теперь на все вокруг нас. А поэт ведет нас все дальше по пути познания:

Новы старый друг и старый враг,
ожиданье и предвестье чуда,
нов в дороге дальней каждый шаг,
ибо он не сделан был покуда.
Нов бывает каждый день с утра,
каждое осмысленное слово.
Под луною все живое — ново...

*(«Второе возражение философу...».
Перевод Н. Гребнева)*

Насколько такой взгляд делает жизнь осмысленной, наполняет ее новым содержанием, позволяет ощущать продолжительность быстротечного времени!

Твое видение мира — твое счастье: насколько шире его видишь, настолько ты счастливей — таков завет поэта. То есть при широком взгляде на мир быт переходит в свою высшую сферу. Тогда он утрачивает прозаичность, отчего неизмеримо возрастает красота жизни, понимание ее цены, цены ее часа, мига. Поэзия природы Кулиева утверждает приятие красоты природы, земных благ как твое великое достояние, которым нужно дорожить; она утверждает уважение к земле, миру.

Пчела издревле трудится с восходом,
чтоб горечи не стало на земле.
Всегда ль тебя судьба кормила медом?
Так будь за мед признателен пчеле.

Взяток с пыльцой — все ее пожитки.
К цветам стремится, к летнему теплу...
Ты, горечи вкусивший в преизбытке,
За сладкий мед благодаря пчелу!

(«Пчела». Перевод С. Липкина)

Людам дано так много прекрасного миром, что им, кажется, остается приложить совсем немного усилий — сознания, разума, — чтобы сделать прекрасными себя, жизнь. Идеальный образец идеи «человек и мир», «человек в мире» находим в стихотворении Кулиева «Летний день».

За речку, где купался, за небо, на которое смотрел,
За дерево, в чьей тени я лежал,
За теплый камень, на котором я сидел,
Снова благодарит тебя в этот день

Мое сердце, всегда благодарное тебе,
Земля. Ты не жалела для меня плодов,
Твои ясные рассветы приходили ко мне,
Делали меня счастливым.

Я бедным себя не буду считать никогда,
И этот летний день, подарок мне.
Святая Земля! Я могу тебя отблагодарить
Только любовью моей к тебе.

(Подстрочный перевод)

Поэзия природы Кулиева ни в какой степени не является откликом на проблему «природа и человек» как таковую, остро стоящую перед человечеством, в ней нет и упоминания о «научно-техническом прогрессе».

А требованию времени она отвечает наилучшим образом — чрезвычайно актуальна. Ей не грозит ни отказ от прогресса, ни шарахание от земли, родной почвы, породившей человека, ни хлюпающая тоска по природе, ни патриархальщина — крайности, на которые, как известно, относит ныне немало ищущих ответа на многие волнующие вопросы современного развития общества. У Кулиева классически народный взгляд на мир, который позволяет ему найти правильный путь в творчестве и бесспорные художнические решения в его поэзии.

Этот этап поэзии К. Кулиева, как никогда, богат новыми темами, мотивами, художническими открытиями, и, несмотря на все предыдущие достижения поэта, можно сказать, что только теперь в полную силу раскрылось его самобытное дарование.

За сборник стихов «Книга земли» К. Кулиеву присуждена Государственная премия СССР.

Талант, верность своей индивидуальности, ясно осознанный, твердый взгляд на природу и назначение поэзии дают возможность Кайсыну Кулиеву проникать во все новые стороны вечной и бесконечной сути жизни. Потому его ожидает несомненно дальнейшее творческое восхождение.

Байрамукова Нина Магомедовна

КАЙСЫН КУЛИЕВ

М., «Советский писатель», 1975, 272 стр. План выпуска 1975 г. № 317. Художник *С. Я. Бейдерман*. Редактор *Е. И. Изгородина*. Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*. Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*. Корректор *В. Е. Бораненкова*. Сдано в набор 7/1 1975 г. Подписано к печати 16/V 1975 г. А 02279. Бумага 70×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 8¹/₂+вкл. 0,31. (12,33). Уч.-изд. л. 11,29. Тираж 20 000 экз. Заказ № 49. Цена 69 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109